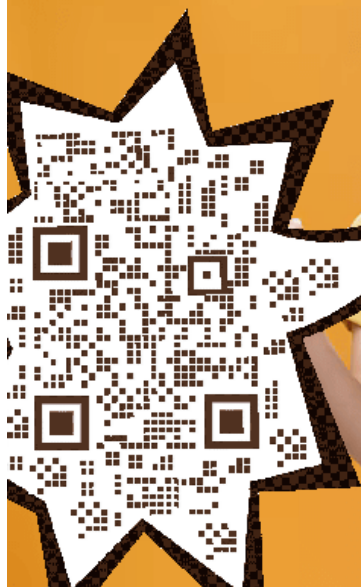


Лина
Хааг

ГОРСТЬ ПЫЛИ



**SHOUT
SHARE IT**



Annotation

Немецкая коммунистка Лина Хааг — очевидец страшного времени в истории Германии — прихода к власти фашистов, разгула нацистского террора. В ее записках — страдания простой труженицы, мужественной, умной, любящей женщины, перенесшей муки фашистского ада.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

- [Лина Хааг](#)
 -
- [Горсть пыли](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [ОТ АВТОРА](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)

Лина Хааг



ПРЕДИСЛОВИЕ

Записки Лины Хааг, написанные в последние годы нацистского режима под свежим впечатлением пережитого и выстраданного, изобличают жестокость и террор, царившие в гитлеровском рейхе. Честная труженица, активная участница антифашистского движения в простых и волнующих словах описывает все, что пришлось ей претерпеть в тюрьмах нацистов, в концлагере Торгау. Глубоко трогает правдивость, с которой она повествует о своих чувствах, о столкновениях и борьбе с угнетателями. Гестаповские палачи хотели уничтожить ее физически и морально. Этого им не удалось. В самых трудных, казалось бы, безнадежных ситуациях Лины Хааг каждый раз вновь собиралась с силами, оставалась непоколебимой, ощущая солидарность соратников по борьбе, и сама активно проявляла такую солидарность.

В записках резко противостоят два мира: на одной стороне добрая, сердечная женщина, коммунистка, полная человечности, любви к жизни и ненависти к войне, на другой — презирающие людей, жестокие, бездушные палачи, прислужники режима насилия и террора, фашизма, несущего с собой войну и уничтожение.

В настоящее время Лина Хааг живет в Федеративной Республике Германии, она активная антифашистка. Рядом с ней еще проживает много палачей из гестапо и концентрационных лагерей, жестокость которых она описывает, многие из тех, кто принимал участие в истязаниях, массовых убийствах в концлагерях и фашистских застенках. Некоторые из них получают пенсии, значительно превосходящие доходы, на которые существуют их жертвы.

Непостижимо, но факт. Из обнаруженных официальными учреждениями ФРГ 85 тысяч нацистских убийц только 6 тысяч были осуждены. Но лишь немногие из них отбывают наказание. Большое число преступников до сих пор не обнаружено.

Органы юстиции ФРГ крайне неохотно возбуждают преследование и проводят судебные процессы над нацистскими преступниками. Производство дознаний по таким делам было начато только в середине шестидесятых годов. Однако чаще всего это был лишь фарс, задуманный для успокоения демократической общественности, требующей строгого наказания нацистских убийц. Ведение следствия умышленно затягивалось, во многих случаях более чем на пятнадцать лет. Тем временем умирали свидетели, и органы дознания, как правило, прекращали

следствие. Еще свежо в памяти скандальное происшествие, имевшее место на проходившем в Дюссельдорфе судебном процессе над преступниками из концентрационного лагеря Майданек, где под предлогом «отсутствия доказательств» судьи прекратили дело по обвинению орудовавших в этом лагере самых страшных нацистских палачей.

Отношение судебных органов к нацистским преступникам отражает политическую ситуацию в Федеративной республике. Во времена «холодной войны», выполняя указания руководящих политических сил, они воздерживались от преследования нацистских и военных преступников. Это был период, когда для ремилитаризации страны нужны были нацистские генералы и крупные нацисты выдвигались на ответственные государственные и правительственные посты.

Сегодня реакционные политики периодически высказываются за подведение черты под прошлым. По их мнению, народ должен забыть про страдания автора этой книги Лины Хааг и многих других антифашистов при нацистском режиме, он не должен знать правду о преступлениях нацистов. Он не должен знать, что монополии и капиталисты, производящие оружие, поставили Гитлера у власти. Поэтому реакционные политики требуют установления сроков давности для нацистских и военных преступлений.

Как известно, демократические силы в ФРГ и международная общественность развернули широкое движение против применения сроков давности к этим преступлениям, что привело бы к прекращению уголовного преследования нацистских и военных преступников за совершенные ими злодеяния. Под влиянием этого движения большинство депутатов бундестага вынуждено было принять решение об отмене сроков давности, правда не для нацистов и военных преступников, а только по делам об убийствах. Этому способствовало также и переиздание записок Лины Хааг «Горсть пыли». И все же, несмотря на решение бундестага, дело все еще обстоит таким образом, что федеральное правительство и законодательные органы республики до сих пор уклоняются от применения В судебной практике принятых Потсдамским соглашением, приговором международного трибунала в Нюрнберге, а также ООН обязательных международно-правовых норм. Они отказывают в возбуждении уголовного преследования военных преступников, лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности.

Судебные органы Федеративной республики преследуют лишь тех нацистских преступников, чье личное участие в убийстве может быть доказано. Но каким образом можно во

многих случаях «доказать» такое участие, если те, кто мог бы это засвидетельствовать, замучены в фашистских тюрьмах и концлагерях или, если они это пережили, умерли прежде, чем было возбуждено дело против нацистских убийц! Если же иной раз и оказывается возможным доказать прямое и личное участие какого-либо палача из концлагеря в совершении им убийств, он часто отделяется смехотворно ничтожным наказанием. Так глумятся над его жертвами.

В судебной практике органов юстиции ФРГ ничего не изменилось и после принятия бундстагом вышеупомянутого решения о неприменении сроков давности.

Безнаказанность нацистских и военных преступников поощряет тех, кто ослеплен антикоммунизмом, антисоветизмом и выдумками о «советской военной угрозе», тех, кто находится под влиянием фашистской идеологии.

Записки Лины Хааг свидетельствуют, к чему привел приход к власти фашистов. Более того, они предостерегают против всякой недооценки любых нацистских идеологий и устремлений, призывают все демократические силы — коммунистов, социал-демократов, христианских демократов, либералов — решительно, объединенными усилиями вести борьбу против нацизма и неонацизма.

Если в настоящее время в Федеративной Республике Германии мы наблюдаем оживление и активизацию неонацистских сил, то корни этого явления в усилившемся антикоммунизме и антисоветизме правящих кругов, в гонке вооружений, травле коммунистов и всех прогрессивно мыслящих людей, в сдвиге вправо руководства буржуазных партий.

Однако благодаря деятельности многих антифашистов, огромной проводимой ими разъяснительной работе и освещению того, что происходило в годы нацистского господства, как об этом рассказывается и в записках Лины Хааг, одновременно возрастает противодействие неонацизму со стороны демократических сил, не желающих, чтобы в нашей стране были снова установлены порядки, описанные Линой Хааг, не желающих, чтобы наша земля опять стала очагом возникновения новой войны.

Никто и ничто не может быть забыто. Под таким девизом проходило широкое международное движение против применения в ФРГ сроков давности по делам нацистских и военных преступников. Этим девизом руководствуются антифашистские силы моей страны в борьбе против неофашизма и реакции, за демократические права, мир и социальный прогресс.

КУРТ БАХМАН

Этой книге я должна предпослать несколько замечаний.

В мае 1944 года, когда можно было наконец с уверенностью предсказать окончание длившегося двенадцать лет страшного периода организованного нацистами массового истребления народов и развязанной ими войны, я поняла, что сразу же вслед за этим должны громко прозвучать голоса живых свидетелей, достоверно и убедительно рассказывающих обо всем, что происходило. Голоса тех, кто вышел живым из тюрем и концентрационных лагерей, кому можно было верить. Людей, связанных общими идеалами и доказавших, что и безоружными — их оружием были только глубокое возмущение и сжатые в гневе кулаки — они все же могли наносить ответные удары невероятно могущественной власти бесправия и чудовищного насилия. И что еще важно: среди них было много мужественных женщин.

Я ощущала, насколько необходимо, чтобы все оставшиеся в живых антифашисты, в той мере, в какой им позволяли силы, повсеместно рассказывали все, что им известно о совершенных нацистами массовых преступлениях. Не становясь при этом в ложную позу героя, а просто свидетельствуя обо всем, что происходило в действительности, и подкрепляя свои рассказы бесспорными доказательствами. Необходимость делать это существует и поныне.

Через два дня после вступления американских войск в Гармиш я вручила мои записки офицеру американской армии доктору Бургу, который внушал мне доверие. Через несколько недель он дал о себе знать, а в начале 1947 года книга была опубликована в «Nest-Verlag» в Нюрнберге в качестве одного из первых документов движения Сопротивления. Книга быстро разошлась.

В 1948 году ее опубликовали Виктор Голланц в Лондоне и «Mitteldeutsche Verlag» в Галле, а в 1950 году — в Берлине — Потсдаме издательство Объединения лиц, преследовавшихся при нацизме. В настоящее издание, выходящее через тридцать лет после первой публикации книги, внесены несущественные изменения и исправлены некоторые неточности.

Я просила бы принять во внимание, что, действуя под влиянием чисто эмоционального порыва, я за несколько ночей описала все случившееся со мной, не имея опыта литературной работы и каждую минуту ожидая нового ареста. Рукопись создавалась тайком. Одно дело, когда работаешь у себя дома, в

нормальных условиях, возможно имея под рукой пишущую машинку и сделанные ранее записи, и совсем другое, когда вынужден полагаться только на собственную память. Дневников в тюрьмах гестапо узники не вели, у них не было ни карандаша, ни клочка бумаги. Каждый побывавший там это знает. Нелегальные передачи из тюрьмы возможны были лишь при особо благоприятных условиях, что случалось крайне редко.

Картины этого прошлого бесконечно мучительны и сейчас. Того, что было, нельзя ни забыть, ни простить. Для женщины из рабочего класса они неотъемлемая часть ее жизни, отданной борьбе с теми, кто вел Германию к гибели.

Я была поражена впечатлением, какое произвела моя книга на читателей. От них пришло много писем с одобрительными отзывами. Молодежные организации, а также проходивший в 1948 году во Франкфурте-на-Майне съезд писателей пригласили меня прочесть ряд докладов. Много положительных рецензий было опубликовано в печати.

Одно американское издательство предложило объявить мою книгу бестселлером при условии, если я соглашусь на то, чтобы в тексте помещенной на суперобложке книги издательской рекламы было указано, что мне и моему мужу следовало бы проявить «больше благоразумия» при выборе своей партийной принадлежности. Представителю этого издательства я указала на дверь.

Что сказать сегодня, тридцать лет спустя? Надо неустанно, все вновь и вновь бороться с предрассудками людей, с вновь надвигающейся массивной, жестокой и в то же время искусно организуемой нетерпимостью, с угрожающей опасностью справа.

ЛИНА ХААГ

Мюнхен, лето 1977

Гармиш, в мае 1944 года, отель «Риссерзее»

Здесь я совсем недавно, в военном госпитале, работаю инструктором по лечебной гимнастике. Да будет тебе известно, что отель превращен теперь в госпиталь. Нашу берлинскую квартиру разбомбили, иначе меня бы сюда не перевели. Кетле я устроила у родителей. О тебе я все еще ничего не знаю.

Пишу тебе письмо — не помню уже, какое по счету. Я все же пишу, даже если это бессмысленно, мне тогда чуточку легче. Днем еще кое-как терпимо, отвлекает работа. Тяжки вечера.

Разве не был всегда Гармиш нашей мечтой? Разве не в Гармиш мы должны были отправиться в свадебное путешествие семнадцать лет назад? Ты следуешь раз и навсегда избранным путем. Странные пути. Что можно о них сказать. Почему именно нам приходится так тяжело? Видишь, какие вопросы приходят в голову, когда наступает ночь, бесконечная бессонная ночь. Над белой вершиной горы я вижу первую звезду. В долине шумят горные ручьи. Гармиш в мае. Это прекрасно, говорят наши солдаты, когда попадают сюда. Да, это прекрасно.

Сегодня опять отправили на фронт тридцать человек. Их не вылечили, тем не менее они признаны годными к строевой службе. За это капитан медицинской службы, хорошо знающий свое дело, сможет еще некоторое время здесь продержаться. Он прямо-таки чудодей, исцеляющий больного возложением рук, как в Ветхом завете, а может быть, в Новом: и говорю тебе, сын мой, встань и иди! Я принесла ему рентгеновские снимки тех, кого сегодня выписали. Приказ выполнен без лишних слов. И снимки были достаточно четкими. Но это не помогло. Приказ о выписке оставлен в силе. Вся команда отбыла. Фронту нужны герои. Ничего нельзя было поделать. Напротив. Возможно, его несколько смутил мой взгляд, иначе он бы меня наверняка отчитал. Все ограничилось обычной ссылкой на конечную победу рейха. О том, что в мае сорок четвертого здесь намного лучше, чем в полевом госпитале у Тарнополя, он не упомянул. Вместо этого он сказал: «Для достижения конечной победы можно пойти на любые жертвы!» Я швырнула в угол рентгеновские снимки и поднялась в свою мансарду. Я должна об этом написать, иначе лопну от злости. Или не смогу сдержаться и хоть раз скажу все, что об этом думаю. Вот до чего дошла. До точки.

Слишком много переживаний за последние годы. Пребывание в одиночке совсем меня изнурило. Я это чувствую. С каждым днем худею. Остальное делает страх. Уже несколько месяцев от

тебя ни строчки. Расспрашиваю прибывших с восточного фронта раненых. Может быть, кто-нибудь знает что-либо о твоей части. Нет, они ничего не знают. Они знают только, что все идет кувырком.

Мать пишет о новых арестах дома. Спрашивали мой адрес. Неужели снова хотят меня арестовать, в четвертый раз? Больше я не выдержу. В бюстгальтер зашила половинку лезвия безопасной бритвы. На всякий случай. Но это не успокаивает. Мне страшно. Когда звонит телефон, у меня дрожат колени. Когда за моей спиной открывается дверь, замирает сердце. Меня тактично пригласят в приемную. Там будут ждать два хорошо одетых господина. Они вежливо попросят меня следовать за ними. Здесь, в госпитале, они будут вести себя более прилично. Не так развязно и нагло, как в тех случаях, когда за тобой приходят домой.

Вчера, рассматривая рентгеновские снимки, я впала в обморочное состояние. Это ощущение мне знакомо. Когда вдруг голоса окружающих доносятся, как через стеклянную стену, я уже знаю, что произойдет. Если все предметы вокруг начинают вращаться по спирали, самое время к чему-то прислониться. Вчера я почувствовала, что пол уплывает из-под ног несколько ранее обычного. «Это еще что за новости, — сказал капитан медицинской службы, — вы что, совсем скисли?»

Нет, я не хочу скиснуть. Не могу скиснуть. У меня муж и ребенок. Я буду им нужна потом, когда это безумие кончится. Не напрасно же я прошла через двадцать тюрем. Не напрасно сохраняла мужество на протяжении долгих одиннадцати лет. «Уже прошло», — сказала я.

Все проходит — слабость, мнимое обсуждение рентгеновских снимков, пошлые остроты солдат, хихиканье флиртующих сестер, этот день, всё. Все проходит. Только не страх, не тоска по Кетле, не страстное желание видеть тебя. Не эти муки. Ночь...

Разложила перед собой ваши фотографии и рассматриваю твое милое лицо. Я взяла бы его в свои руки и плакала.

Только не падать духом, сказал бы ты. Как часто ты это говорил.

Я никогда не падала духом. Я должна была всегда быть твердой. Почти всегда я была одна. Но никогда не чувствовала себя несчастной. Только мужественной. Только мужественной. Они травили нас, как собак. Они вновь и вновь нас разлучали, тебя отправляли в концлагерь, меня гоняли по тюрьмам. Редко приходилось нам бывать вместе, а когда оказывались вдвоем — разве могли мы спокойно радоваться нашему счастью? Нет. Всегда лишь преследуемые, отслеживаемые, под надзором

полиции. Всегда помнить о главном: только сохранять самообладание, оставаться сильными, всегда — только не сдаваться. Мою любовь к тебе все эти семнадцать лет я носила в себе как сокровенную тайну, как дар, который никогда не могла тебе вручить.

Ах, любимый, что знаешь ты обо мне. Почему я не могу положить голову на стол и как следует нареваться. Ведь я женщина, ведь я твоя жена. Почему не могу однажды сказать: теперь все, больше нет сил.

Нет, этого не будет. Не могу себе позволить этого. Не могу обращать на себя внимание. Ведь здесь я оказалась чудом и не могу легкомысленно его утратить. Это единственный шанс на спасение. Я не могу проявить слабость.

Потому я пишу. Я должна излить свою душу, описав все страдания, пережитые за истекшие годы. Может быть, тогда легче будет все перенести. Может быть, тогда я буду тебе ближе. Может быть, тогда и ожидание не будет таким тяжким. Я ожидаю уже слишком долго. Жду одиннадцать лет. Жду с 31 января 1933 года. С того дня, когда тебя увели.

С этого все началось. Все началось с Гитлера. С захвата власти. С перелома, как они говорили. Они действительно нас ломали — душу и тело. Когда об этом сообщили по радио, я знала, что они тебя возьмут. Ты был депутатом ландтага от КПП. На наших собраниях мы предупреждали об опасности, какую несет с собой Гитлер. И вот он у власти. Почтенный президент и маршал великой войны — до сих пор эти слова звучат у меня в ушах — уполномочил его сформировать правительство. Ожидаемое народное восстание не состоялось. Ничего не произошло. Кое-где — жидкие демонстрации. И мы прошли по улицам небольшого городка, на нас глазели, осыпали насмешками, бросали грозные взгляды. Все высыпали на улицу. Все ждали. Ждали и обыватели. Они выглядывали из окон, стояли у дверей своих домов, чувствуя себя под их защитой, в лихорадочном возбуждении толпились подле пивных и — ждали.

Их ожидания были напрасны. Ни криков, ни свистков, ни стычек, ни выстрелов, ничего. Ни крови. Они были разочарованы. Были разочарованы и мы. Мы не подметили ни одного понимающего взгляда, ни одного испуганного лица, ни тени страха перед тем, что грозно надвигается. Только мелкое, тупое любопытство обывателя да безмолвная вражда. Мы видели флажки со свастикой, коричневые рубашки, торопливо шагающие сапоги. Но нигде ни одного сжатого кулака. Вечером ты возвратился из Штутгарта. В Берлине не произошло революции, зато состоялось факельное шествие. Через рупоры

громкоговорителей далеко разносились провозглашаемые на Вильгельмштрассе массами людей крики «хайль». Явилось это ответом? «Хайль нашему вождю!» Мы были так сильно разочарованы, что не хотели в этом признаться самим себе. Внезапно меня охватил страх. Я быстро упаковала твой рюкзак. Я хотела, чтобы ты уехал. За границу. В безопасное место. Ты пришел в ярость.

— Бросить на произвол судьбы моих рабочих, — сказал ты, — теперь?..

— Если они тебя арестуют, ты тоже будешь вдали от них, — сказала я.

— Но не дезертиром, — закричал ты.

Ты был вне себя. В тот момент мне было все равно. Я думала только о тебе. И о себе. Конечно, и о себе, признаю. Как упрямый ребенок, я все время повторяла одно и то же: они тебя возьмут, вот увидишь, они тебя возьмут! Ах, милый, ты помнишь это?

Они пришли в пять утра. Ремни под подбородком, револьверы, резиновые дубинки. Рванули дверцы шкафа, швырнули на пол одежду, перевернули все на письменном столе и в ящиках. Я знаю, что такое политическая борьба, и не один раз подвергалась домашнему обыску. Но это нечто другое. Они взбираются на стулья, сбрасывают со шкафов на пол коробки, срывают картины, простукивают стены. Все очень быстро, грубо, бесцеремонно, с отвратительным рвением и явным удовольствием. Они ничего не ищут, они только бесчинствуют, топчут сапогами брошенное на пол чистое белье, с циничным любопытством читают наши письма, заставляют меня, дрожащую от возбуждения и холода, стоять в одной сорочке у кровати Кетле. Не зная, что еще предпринять, они бегают бессмысленно взад и вперед, шушукаются, ухмыляются, изрыгают проклятия, наслаждаются нашей беспомощностью. Причем мы для них не чужие, мы знаем их, они знают нас, это взрослые люди, сограждане, соседи, если хотите, отцы семейства, добропорядочные обыватели. Мы не сделали им ничего худого, тем не менее они смотрят на нас с ненавистью, револьверы наготове, вынуты из кобуры.

Этого я не могу постичь. Еще меньше я понимаю происходящее, когда вдруг вижу тебя в пальто.

— Что случилось? — спрашиваю я испуганно.

— Ничего особенного, — говоришь ты и пожимаешь плечами.

— Марш, марш! — командует один из этих людей.

— Ты ведь депутат! — восклицаю я.

— Депутат, — смеется парень, — слышали? — И начинает кричать: — Вы коммунисты, — орет он во весь голос, — но с

вашим сбродом теперь будет покончено!

Кетле в страхе простирает к тебе руки и хочет тебя удержать. Неужели они этого не видят? Нет, они этого не видят. Они говорят, чтобы ты следовал с ними.

Прощай! Мы не можем пожать друг другу руки. Между мной и тобой стоит этот субъект. Я могу лишь кивнуть. В горле комок. Все плывет перед глазами. Хочу что-то крикнуть тебе вслед, но входная дверь уже захлопнулась.

Из окна я вижу, как вы идете по улице. Ты впереди. Хочешь обернуться и еще раз мне кивнуть. И тогда парень хватает тебя сзади. Ты обороняешься. Они начинают тебя бить.

На какое-то мгновение, кажется, все остановилось. Я отрываю от окна плачущего ребенка.

Так вот как это выглядит, думаю я. Хорошо, думаю я почти с удовлетворением. Очень хорошо. Долго народ этого не потерпит.

Через четыре недели арестовали меня.

Меня арестовали, так как подожгли рейхстаг. Я даже не знала, что он горит. Произошло это 28 февраля.

На этот раз это были внешне приличные чиновники центрального управления уголовной полиции, явно дрожащие за свое место. Только четыре недели назад они арестовывали буянивших штурмовиков, теперь же они выбрасывают кверху руку и кричат: «Хайль Гитлер!»

— Вы фрау Хааг?

Перед дверью двое в непромокаемых плащах, мельком замечая их серые шляпы. На одной из них за ленточкой торчит голубоватое перышко, оно бросается в глаза, так как, по-видимому, должно производить впечатление некоей лихости и отваги. Воспринимается же как глумление и издевательство. Прежде чем я могу ответить, между дверью и порогом протискивается несколько старомодный, однако до блеска начищенный ботинок.

— Только без глупостей, — слышу холодный, неприятный голос.

Только теперь всматриваюсь в их лица. Разве это люди? Усики с проседью выглядят как наклеенные. Их назначение, теперь я это ясно вижу, — прикрыть жесткие линии рта. Нарочито приветливое добродушие неподвижных желтоватых рож — только маска. Она скрывает настоящее лицо — злое, подстерегающее. Меня знобит. Что это за люди? Они выглядят безобидными обывателями, на самом же деле это безжалостные палачи. Одеты как почтенные граждане, а в действительности заняты тем, что творят подлости. Они не знают, что такое честный, добросовестный труд, они заняты делом низким и гнусным. Они

— ничто и тем не менее имеют над тобой власть. Так как сами они лишены совести, они глумятся над совестью твоей. Собственная беспринципность позволяет им преследовать людей принципиальных и с одинаковым усердием служить всем режимам, вчера республике, сегодня Гитлеру. У них нет сердца, только занимаемая должность. Им не нужно сердце, им нужно только чужое горе. Хаос. Голод. Отчаяние. Нищета. Это поле их деятельности. За тридцать сребреников, получаемых первого числа каждого месяца, они держат нос по ветру, преследуя всех, кого требуют от них в данный момент преследовать, вчера — властителей сегодняшнего дня, сегодня — владык вчерашнего. И всегда, во всех случаях — нас. Народ.

Они забирают меня потому, что горит рейхстаг. Рейхстаг горит, так как им нужен повод, чтобы разгромить КПГ. Я член КПГ. Поэтому они забирают меня. Я не совершила никакого преступления, но они увозят меня как преступницу. Они видят, что обед на столе, что у меня ребенок и я не могу так все сразу бросить, встать и уйти. Тем не менее они травят меня. Ребенка отдают соседке. Снимают с вешалки и бросают мне пальто. «Гоп-гоп!» — говорят они. Они торопятся. Им надо показать новым господам, что на них можно положиться. Они должны заполнить тюрьмы. Всегда «гоп-гоп». «Бескровнейшая» революция всех времен требует своих жертв. А день такой короткий.

Когда мы спускаемся вниз по лестнице, слышу, как повсюду в доме открываются двери, очень тихо и осторожно, но я это слышу. На улице у меня бегают по спине мурашки. Спинай чувствую на себе чужие взгляды. Из всех окон смотрят мне вслед. Я не вижу этого, я это знаю. Улица полна народа, как всегда в таких случаях. Идут за молоком или возвращаются с рынка. Наверное, так и должно быть. Одни останавливаются и глазают, разинув рот, наслаждаясь увиденным. Другие испуганно отводят взор. Для детей — зрелище, когда они видят, как мелкий служащий Билер жадными руками хватает твой мотоцикл. Разумеется, ему известно, что он принадлежит тебе. Знает это и полиция. Тем не менее она оставляет ему мотоцикл в награду за оказанные им услуги.

Меня доставляют в земельную тюрьму Готтесцелль. Да, да, Готтесцелль^[1].

Ворота, коридоры, решетки, серые лица, скользящие неслышно шаги. Захлопнута тяжелая дверь. Я в плену. Не знаю, за что и как надолго. Камера маленькая и голая, нет, это не камера господ бога. Невыносимая вонь параша. День кажется бесконечным. А меня мучает все та же мысль: что будет с тобой, с Кетле, что будет вообще? Воспоминания вызывают слезы на

глазах. Теперешнее бесконечно тяжелое одиночество озарено светом непродолжительного счастья нашей скромной трудной жизни, и воспоминания эти сладостны и мучительны.

Нам приходилось нелегко, но мы принадлежали друг другу. У нас был наш добрый маленький мирок. Ребенок. Уютная кухонька со столиком в углу, кушеткой у стены. Вечера. Книги. Мы могли уйти и возвратиться домой. Могли в течение дня радоваться предстоящему вечеру. После еды беседовать, читать, играть с Кетле. Выключать по желанию свет. Ночью слышать дыхание друг друга. Мы были не одни. Мы были вместе. Это было счастье. Не так ли? Сколько времени прошло с тех пор? Четыре недели? Мне кажется- годы.

Хорошо, что меня через некоторое время из одиночки переводят в общую камеру, где несколько женщин находятся под так называемым предварительным арестом. Исключительно политические и взяты по недоразумению. Сначала взаимное недоверие, у меня — более стойкое. Здесь есть лица, которые мне не нравятся. Шумно, царит напряженная атмосфера. У людей, очутившихся вместе в небольшом помещении, противоречия и контрасты проявляются еще более резко, чем там, за тюремными стенами. Совместное страдание не всегда объединяет.

Нам разрешено получать газету. Из нее я узнаю, что горел рейхстаг и в связи с этим Геринг осуществил акцию против коммунистической партии. Теперь понятно, почему я здесь. Процесс о поджоге рейхстага предстает во всей своей зловещей смехотворности. Женщины оживленно его обсуждают. Я проявляю сдержанность. Я слышала, что в определенной ситуации за донос на соседа по камере можно купить себе свободу. Сильное искушение для слабохарактерных. Правда, у многих арестованы и мужья, а дома ждут малые дети. Не дома, разумеется. Где-нибудь.

Однажды меня вызвали на допрос. Очевидно, пришло время. Хотя и не знаю, чего от меня хотят, но по крайней мере что-то происходит. Уличить меня ни в чем нельзя, но мало ли что могут приписать. Я была членом Коммунистического союза молодежи, а позднее КПГ. Тогда легальной, теперь противозаконной.

В конторе начальника тюрьмы за письменным столом сидит небольшого роста приветливый господин. Взгляд острый, но, может быть, причиной тому толстые стекла очков. Он удобно откидывается в кресле, тихо и обходительно спрашивает фамилию, происхождение, вначале допрос протекает весьма спокойно.

— У вас ребенок, — замечает он вскользь.

— Да, сейчас он у моей матери, — отвечаю я непринужденно.

— Так, так, — говорит он участливо, положив ногу на

ногу, — у вашей матери.

Тон, которым он произносит эти слова, меня тревожит.

— Ну-ну, — говорит он, наклоняется и начинает перелистывать лежащие перед ним на столе бумаги, — потом выяснится, правильно ли будет оставлять его там.

Я вздрагиваю.

— Как? — говорю испуганно.

— Успокойтесь, — говорит он, — все зависит от вас, ничего не случится ни с вами, ни с вашим ребенком. Вы можете завтра же отправиться домой...

Я облегченно вздыхаю.

— Если вы этого захотите, — продолжает он. Словно я могу этого не хотеть.

— Если вы, — говорит он более решительным тоном, — расскажете мне все, что вам известно о нелегальной работе ваших товарищей... и — назовете имена этих товарищей.

Так вот в чем дело. Я должна предать друзей. Мой ребенок — ставка в этой игре. Я могу лишь пристально смотреть на этого человека, больше не могу ничего. Нет, это не очки, это сами глаза буравят меня. Они пригвождают к месту. Вынуждена собрать все свои силы, чтобы как можно спокойнее сказать, что мне ничего неизвестно. Лгу я плохо. Голос почти пропал, так бешено бьется сердце. Он это видит, он должен это видеть.

Спрашивает насмешливо, язвительно, коварно, все время одно и то же, но по-разному. Я упорно качаю головой и при этом уверенно смотрю ему прямо в глаза. Теперь мне все равно, хотя от волнения на лбу выступил пот.

Внезапно он вскакивает, но не импульсивно, потеряв терпение, а совершенно сознательно, чтобы напугать меня. Его лицо меняется, меняются голос и весь облик, становится действительно жутко и страшно. Невозможно представить, что этот маленький, брызжущий ядом и опасный дьявол когда-то мог казаться приветливым и любезным.

— Вероятно, — вопит он, потрясая взятым со стола листом бумаги, — это поможет несколько освежить вашу память!

Он зачитывает имена. Они падают как удары. Они должны заставить меня вздрогнуть. Но я не вздрагиваю, остаюсь спокойной и безмолвной, ибо среди этих имен нет тех, кого они ищут. Теперь я вижу, что ему ничего неизвестно.

— Нет, — говорю я, облегченно вздохнув, — не знаю... никогда не слышала... с ними незнакома... к сожалению.

Он кричит:

— Если вы думаете этим помочь себе, Хааг...

Теперь я вздрагиваю. Мне еще никто не отказывал в

обращении «фрау». Почему он говорит «Хааг», почему не прямо — «грязь»? Ведь именно такой он считает меня. Что ж, извольте. Мне было бы невыносимо, если бы он считал меня подобной ему. Пусть в его представлении я ничто. Пожалуйста. Согласна на это от всего сердца. Мое человеческое достоинство — как часто мы говорили о человеческом достоинстве, помнишь? — я никогда не ощущала так остро, как в эту минуту. Что общего у меня с этим субъектом? Я человек, женщина, любящая. Родила ребенка. Я открыто выступила в защиту основных человеческих прав и потому теперь страдаю. У меня своя судьба. А он? Что представляет собой он? В протоколе допроса он может записать, что я хитрая, пронырливая баба. За это его начальник, перед которым он тянется, даст мне на два месяца тюрьмы больше. Сам он даже этого не может. Он может только кричать, да и то лишь здесь, под защитой стен и решеток. Перед своим начальством лебезит и заикается. У него нет подлинной власти. Всего лишь ищейка. Может только терзать — и ничего более. Он ничего не знает о человеческом достоинстве, ибо таковым не обладает. Титул — вот его «достоинство». Советник уголовной полиции или что-нибудь в этом роде. У него даже нет настоящей судьбы. Самое большее, что может с ним произойти, — это неудача при очередном повышении в чине — если его обойдут. В этом вся его судьба. У него нет чести, одно честолюбие. Он не страдает. Он и не должен уметь страдать, ибо тогда ему пришлось бы время от времени разделять чьи-либо страдания. Но тогда он был бы не чиновником уголовной полиции, а человеком. Он же — чиновник уголовной полиции, я это вижу. Даже трудно представить, как можно создать такой внутренний мир. Без любви. Без каких-либо ощущений, кроме наслаждения от того, что приводишь в отчаяние людей.

Меня в отчаяние он больше не приводит. Это уже прошло. Он вернул мне чувство уверенности в себе. Нас разделяет не только письменный стол со старым чугунным чернильным прибором и голубым скоросшивателем, а целый мир. Он может использовать все регистры своего неуклюжего ремесла изобличения — уговаривать, предупреждать или расточать страшные угрозы, меня это не трогает, ни в чем не признаюсь, продолжаю спокойно сидеть на узком стульчике и все отрицаю. На протяжении трех часов.

Когда вне себя от ярости он наконец выдыхается, я знаю, что в скудном протоколе допроса нет ничего изобличающего кого-либо из моих товарищей. Мне безразлично, что говорится там обо мне. С удивлением ощущаю, что нервы пока выдерживают.

Они мне нужны. Товарищ Эмми Рамин^[2] также находящаяся

здесь в Готтесцелле, после допроса в Штутгарте возвратилась сюда из тамошней тюрьмы с различными тревожными известиями, которые на лету подхватывались заключенными других камер. От нее я узнала, что арестованы также Фриц Рау и Вальтер Хебих. Я знаю обоих ловких и мужественных парней, мы были вместе в одной молодежной группе. Фриц Рау, рассказывала она запинаясь, скончался после страшного допроса в берлинском гестапо. Его посадили на раскаленную печь.

Не решаюсь больше расспрашивать о тебе. Должно быть, она видит страх, написанный на моем лице, так как начинает рассказывать сама. Сейчас ты находишься в Куберге, в лагере для лиц, подвергнутых предварительному аресту. Тебя хотели заставить отдать честь знамени с изображением свастики. Я не приветствую шляпу Геслера^[3] отвечал ты. Тебя зверски избили.

— Но он жив, — добавляет она.

До вечера я с великим трудом еще сдерживаюсь и глотаю слезы, но потом мне это не удастся. Когда закрываю глаза, вижу твое залитое кровью лицо. Когда их открываю, вижу на стене камеры отбрасываемую оконной решеткой тень. Я в тюрьме. Я не могу быть рядом с тобой. Может быть, ты лежишь сейчас где-нибудь в темном углу, ни один человек не позаботится о тебе, никто не перевяжет твои раны, не придет на помощь. Может быть, ты зовешь меня, а я здесь. В тюрьме. Сотрясающие меня судорожные рыдания больше похожи на звериный рев, нежели на женский плач. Они бросают меня на койку. И тогда я безудержно плачу, обливая слезами соломенный тюфяк. Еще никогда не чувствовала я так болезненно мою любовь, как в эту ночь.

Через некоторое время на официальном печатном бланке я получаю твою первую весточку из лагеря. У тебя все хорошо, пишешь ты. Хорошо, пишешь ты. Хорошо.

У террора есть свои методы.

Мы рассчитаемся с нашими врагами: око за око, зуб за зуб. Тот кто сказал это, был Мурр, имперский наместник в Вюртемберге. Он сказал это 30 января на Дворцовой площади в Штутгарте. Эти слова он прорычал.

В один из дней его супруга изъявила желание посетить Готтесцелль. Она прибывает в сопровождении высшего чиновника штутгартского гестапо обершарфюрера СС Маттайса. Несколько месяцев спустя во время ремовского путча он вынужден будет покончить с собой. Но в этот день он оживлен, и для многих женщин — олицетворение власти и могущества. Они не сводят с его красной бульдожьей физиономии любопытных и манящих взглядов. Мне стыдно за них. Меня тошнит при виде этих застывших улыбок на серых лицах.

На всемогущем нещадно скрипящие сапоги для верховой езды и фуражка с весьма подходящим символом — черепом. Сегодня он благоволит объявить об освобождении нескольких заключенных. Всемогущий в хорошем настроении, он, как солнце, милостиво разрешает пользоваться своим светом в равной мере праведникам и грешникам, ни одну из заключенных не спрашивает о существовании ее дела, выдает освобождения совершенно произвольно, кто попадется на глаза, мимоходом бросая замечания вроде: «Ладно... катись отсюда, куколка».

Потом появляется она. Госпожа Мурр. Сильно крашенная блондинка, надменная и недобрая. Уже из коридора слышна ее визгливая болтовня. Начальник тюрьмы докладывает о нас, делая это с предельным раболепием и подхалимством. Не слышу, что он говорит, но выглядит все это, как обозрение дикарей, доставленных из далеких стран. Вот эти здесь, мог бы он сказать, пресловутые недочеловеки, почтенная госпожа, прошу быть с ними поосторожнее! Почтенная госпожа глупо хихикает, таращит от удивления глаза и медленно проходит мимо нас, как мимо клетки с дикими зверями. Она задает идиотские вопросы, она действительно рассматривает нас как низшую разновидность живых существ и, по-видимому, представляется самой себе весьма выдающейся личностью. Она, должно быть, очень глупа и вблизи выглядит на редкость заурядно. Она яркий пример того, что обладание даже небольшой властью, как ничто другое, раскрывает истинный характер человека. Возможно, я в этот момент засмеялась. Вероятно. Во всяком случае, она очень неласково на меня посмотрела и повелительным тоном спросила:

— Фамилия?

Как часто я отвечала на этот вопрос.

— Хааг? — спрашивает она, вылупив на меня глаза. — Не жена ли вы того коммунистического начальника?

— Мой муж, — говорю спокойно, — не был начальником, фрау Мурр, он был абсолютно тем же, кем был и ваш муж, депутатом ландтага.

— Что, — кричит она резким, пронзительным голосом, — этот подлый подстрекатель... один раз я сама слышала его выступление в ландтаге... эти красные недочеловеки подлежат полному истреблению! Истреблению, — повторяет она, бросая пламенные взгляды на окружающих. — Были обнаружены черные списки, — вопит она дальше, — и в них стояли мое имя и имя моего невинного маленького ребенка. Нас хотели убить! — кричит она истерически.

Я должна засмеяться, не могу иначе. Как по-иному могу я реагировать на эту небылицу. Мой смех окончательно приводит

ее в ярость. Она буквально задыхается. Она так взбешена, что охотнее всего залепила бы мне пощечину. Но здесь это слишком неудобно.

— Еще смеет улыбаться! — злобно бранится она. И, обернувшись, на прощание бросает: — Наглый подонок!

Сейчас они меня уведут, думаю я. Удручающая тишина. Но ничего не происходит. Начальник тюрьмы растерян.

— Пойдемте! — приказывает она. И, уходя, все еще кипит от злости. Прямо-таки оскорбленное величие.

Теперь мы в камере вчетвером. Эрика Бухман из Штутгарта, Лиза Линк из Фройденштадта, Грета Гар из Гёппингена и я. К рождеству нас должны отпустить.

Мне разрешили вернуться домой к Кетле. Домой! Описать мою радость невозможно. Она так велика, что почти причиняет боль. Дома потрясает все, даже вещи самые незаметные, кусочек изгороди, пышно разросшийся куст, выступающая из-за холма крыша дома, тянущаяся мимо упряжка. Идешь как во сне, и вид старых знакомых переулочков трогает до глубины души. Куда-то торопятся прохожие, на дверях магазинов позванивают колокольчики, ярко освещенные витрины говорят о том, что наступило рождество. Теперь к маме, захватить Кетле — и через часок я дома. Зажгу плиту, заварю чай, и счастливые, чувствуя себя в безопасности, будем сидеть в теплой кухне. У меня нет оснований надеяться, что вдруг и ты окажешься дома, и тем не менее надежда живет в моем сердце и заставляет ускорить шаг.

Все происходит так, как я себе представляла. Завопив от восторга, Кетле бросается на шею. Мать немедленно берется за самое, по ее мнению, важное. Она уставляет стол вкусной едой и настаивает, чтобы я прежде всего хорошо поела. У нее слегка дрожат руки. У отца на глазах слезы. За этот год оба сильно постарели. Очень волновались о нашей судьбе.

Приятно сидеть в тепле, безопасности, когда так нежно за тобой ухаживают. Но я еще не у себя дома. И ничто не может меня заставить остаться, меня неудержимо тянет домой. Мне думается, ты должен быть там. Возможно, уже ждешь меня, пока я здесь в гостях. Я должна идти. Домой. К нам.

Когда я собралась уходить, родители пришли в ужас: «Куда?» — «Домой!» — «Домой? Разве ты не знаешь?.. Квартира занята, теперь в ней живут другие, никто не знал, как долго все это продлится. Мебель сдали на хранение на склад».

Я вижу: говоря это, они по-настоящему огорчены. Но это не утешение. Итак, у нас больше нет своего дома. Своего угла. Нет ничего, принадлежащего только нам. Ты в концлагере, мебель на складе. Куда же деваться мне, все развалилось, больше я не

чувствую почвы под ногами, мне кажется, я выброшена из жизни. Где будешь ты искать меня по возвращении? Что почувствуешь, когда будешь стоять у нашей двери и тебе откроют чужие люди? Конечно, придешь сюда, это ясно. И все же, все же.

По моему лицу льются слезы. Родители перепуганы. Они не понимают. Ведь я могу остаться у них, как это бывало и раньше. Как раньше. Неужели они не понимают, что теперь совсем все по-другому. Что мы не можем больше идти домой, домой к нам. Что мы утратили нечто большее, чем жилище. Наш добрый небольшой мир. Со всем счастьем, которое окружали эти стены.

Кетле поцелуями осушает мои слезы. Я держу в объятиях это милое создание. Или она держит меня в своих? Так просто не могу ответить на этот вопрос. А все-таки? Да, дитя держит меня в своих объятиях, я чувствую это. Даже просыпаясь ночью, ощущая ее ручонку, любовно обнимающую меня. Со всей своей любовью. Со всей твоей любовью. Может быть, только мать может это по-настоящему понять. Но это так. Не будь у меня Кетле, боже мой...

Ты все еще в казематах Куберга. Комендант лагеря — пресловутый Бук. Больше мне ничего неизвестно. Я разыскиваю людей, которые там побывали. Может быть, удастся что-нибудь предпринять. Если бы можно было хотя бы тайком передать письмо. Когда я заговариваю об этом, люди умолкают и в страхе озираются по сторонам. Это боязливое оглядывание по сторонам завсегдатаи пивных окрестили «немецким взглядом», шутка, часто вызывающая смех. Она оказывается весьма меткой. Насколько меткой, явствует также из того, что многие, которых я расспрашиваю, ни о чем не рассказывают. Перед тем как выйти на свободу они, как и я, дали подписку, что не будут разглашать ничего из того, что им известно о жизни в лагере. Поэтому они молчат. Не потому, что подписались, а из страха перед смертью. Поэтому они молчат. Но не молчит Бруно Линднер.

Мы встречаемся с ним в небольшом лесочке за городом. Бруно находится на нелегальном положении и — свободен. Это означает, что, преследуемый гестапо, он скитается по городу. Собирается нелегально перейти границу, и среди следующих за ним по пятам гестаповцев слывет наиболее опасным. Без пристанища, вечно затравленный, каждую ночь в другом месте, без пищи, отдыха и сна.

Он посвящает меня в трудности нелегальной работы, он, как почти каждый партийный активист, овладевает ею, учась на собственном горьком опыте. Ибо мы все не имели никакого опыта, не видели опасностей и предательства, подстерегающих нас за каждым деревом, за каждым углом, за каждой притворной миной доносчика.

— Мелкому, преисполненному страха обывателю преподносят парадную шумиху с барабанным боем и грохочущим церемониальным маршем, которые заглушают любое человеческое слово и любой призыв к разуму, говорит Бруно. — И помни, ты на каждом шагу можешь встретить тех, кто бросается на свои жертвы с преступной готовностью людей, привыкших охотно выполнять самые страшные приказы.

Потом он сухо, прямо, без уверток рассказывает, как тебя доставили в Куберг. Комендант лагеря Бук предупредил своих штурмовиков и эсэсовцев о твоём приезде, обещая им особо интересное зрелище. Они хотели заставить тебя, как собаку, взбежать на четвереньках на холм, приговаривая: я подлец, обманывавший рабочих. Лицо у тебя было все залито кровью, тебя нельзя было узнать. Ах, мой бедный Фред!

Я сижу на опушке леса, обхватив голову руками. Все во мне убито. Только что был сияющий день, светило солнце, щебетали птицы, цвели луга. Теперь все померкло, стало бесконечно чужим, нереальным и мучительным, это мир, к которому я больше не принадлежу.

— Ты должна всеми средствами попытаться вырвать его оттуда, там они его прикончат.

— Да, да, — механически говорю я, — что-то надо предпринять. Это единственное, о чем я могу думать. Бруно что-то еще говорит, я слушаю его, но о чем он говорит, не понимаю. У меня только одна мысль, заполняющая меня целиком, снимающая овладевшее было мной оцепенение, заставляющая действовать: надо что-то предпринять.

— Я поеду к министру, — говорю вдруг решительно. Это решение подсказано мне отчаянием.

— Итак, — говорит Бруно и подает на прощание руку, — главное — вызволить его оттуда. А потом скрыться. Как я.

Вскоре ему действительно удастся нелегально перейти швейцарскую границу. Я же возвращаюсь в город. Иду машинально, как автомат. Не замечаю ничего из происходящего вокруг. Одержимая одной-единственной мыслью — идти к министру. Еще не представляю, к какому именно. На следующий день утром еду в Штутгарт.

Я хочу поговорить с министром юстиции и внутренних дел Шмидтом. Да. Без рекомендации. Нет, не с референтом, а именно с ним. С самим министром. По личному делу. Речь идет о моем муже. Мой муж? Находится в заключении в лагере Куберг.

Чиновник в приемной качает головой. У него для этого все основания. И все же меня впускают.

То, что произошло, дело отнюдь не обычное, это невероятное,

неправдоподобное счастье. Министр стоит у письменного стола. Мое сердце учащенно бьется. Великолепие и пышность обстановки смущают. Начинаю говорить, запинаясь и несколько растерянно. Мой дядя Фукс в Буэнос-Айресе, объясняю я, он оплатит проезд, если нам — моему мужу, ребенку и мне — разрешат эмигрировать в Южную Америку. Министр задает вопросы. Я совершенно откровенна. Министр не говорит «нет». Правда, не говорит и «да». Он ознакомится с делом. Через несколько дней из министерства приходит ответ: приказ о твоём освобождении будет отдан по предъявлении билетов в Буэнос-Айрес.

Я едва могу поверить этому. Я должна сесть. Прижимаю Кетле к груди. Папа вернется, говорю я, задыхаясь. Одновременно смеюсь и плачу. Радость буквально сбивает меня с ног. Когда? — спрашивает Кетле. Скоро, говорю я. Скоро. Как только, пишут они, я смогу предъявить билеты в Буэнос-Айрес. Итак, дело теперь за мной. Как хорошо, что все зависит от меня. Теперь не даю себе и минуты покоя. Проданы мебель, посуда, все, что мы когда-то приобретали, отказывая себе в самом необходимом. Проданы за бесценок, только бы поскорее. Билеты заказаны по телеграфу. Упакованы чемоданы. Только бы вон из Германии. Только бы вон.

Наконец я с Кетле и родителями стою на крытом перроне главного вокзала в Штутгарте и жду тебя. Готовая к отъезду. С чемоданами. Согласно распоряжению гестапо, навестить родителей тебе запрещено. Как только ты придешь, мы должны направиться в аргентинское консульство, получить визы, возвратиться на вокзал и уехать ночным экспрессом. Прямо к пароходу. И все это в сопровождении чиновника гестапо.

Возле нас шатаются двое или трое оттуда, в человеческой сутолоке я давно заметила, как внезапно выныривают и исчезают их макинтоши, но я их больше не боюсь.

Теперь чувствую себя здесь совсем чужой, как бы от всего отрешенной, беззаботная деловитость окружающих мне непонятна. Неужели здесь ничего не знают, не понимают, что к чему? Я не принадлежу больше к этим людям, они торопливо приходят и уходят, улыбаются и кивают. Они должны остаться здесь. Они пленники. Неужели они этого не замечают? А я — я могу уехать. Уехать из этой Германии, которая больше не дом, а только место пребывания. Да еще тяжелое и страшное состояние. Надо мной вздымаются своды крытого перрона, они как ворота, открывающие путь в будущее. Далеко впереди, между их последней дугой и путевым устройством, разными сигналами и железнодорожными стрелками я вижу клочок голубого неба. Мы

направляемся туда. К свободе. Непрерывный шум на перроне, грохотание поездов, свистки и шипение маневрирующих паровозов музыкой звучат в моих ушах. Внезапно меня охватывает нечто вроде сострадания к людям, торопливо снующим вокруг, ничего не предчувствующим, преисполненным доверия к будущему, перед которым я испытываю страх. Мне жаль даже бродящих вокруг чиновников уголовной полиции, но помочь им ничем не могу. Они тоже должны остаться. Должны проследить за нами, убедиться, что мы действительно уехали. Они не понимают, что мы счастливее их. Не видят, что от нетерпения я нахожусь в лихорадочном возбуждении, переступаю с ноги на ногу, снова и снова поглядываю на многочисленные вокзальные часы, и уже совершенно вне себя, когда поезд медленно вкатывается под крышу перрона. Твой поезд. Проходит вечность, пока он наконец останавливается. Люди высыпают из вагонов. Мы вчетвером стоим, как волнорез, в потоке этих спешащих, болтающих, улыбающихся или плетущихся людей, я вижу лишь лица, шляпы, волосы, лбы, глаза. И потом тебя.

Теперь ты заметил меня, с трудом пересекаешь этот людской поток, направляешься к нам, бледный, небритый, осунувшийся, но ты улыбаешься. Кетле устремляется к тебе навстречу, ты наклоняешься, чтобы ее подхватить, как вдруг один из этих проклятых макинтошей оказывается подле тебя, а вот и еще один, а затем их сразу трое, те же три чиновника уголовной полиции. Они окружают тебя, ты, видимо, хочешь протестовать, они грубо отталкивают тебя все дальше и уводят. Закричала мать, что-то выкрикнул отец, я же стояла как вкопанная.

Ты не смог даже пожать мне руку и снова исчез, скрылся в гуще толпы. Вновь недостижимый для меня.

То, что я бросила на вокзале ребенка, родителей и чемоданы, осознаю лишь позднее, когда растерянная, разговаривая сама с собой, в полном смятении брожу по улицам. Куда я, собственно, направляюсь?

Министр юстиции, отдавший приказ о твоём освобождении, явно раздражен. Как же так? Конечно, он тебя освободил. Это Бук, исключительно Бук, комендант лагеря постарался с помощью гестапо вновь тебя арестовать. Исключительно Бук, говорит министр. Проходит немало времени, пока я в состоянии понять, что произошло. При твоём освобождении ты дал понять, что за границей до последней капли крови будешь бороться за освобождение арестованных товарищей, выступать в их защиту. И, конечно, для Бука это был прекрасный повод. Прекрасный повод, говорит министр. Прекрасный, подчеркивает он. Должна же я понять это. Конечно, должна. Чего только я не должна в

третьем рейхе?

По крайней мере добиваюсь разрешения на свидание с тобой.

Прижимая к сердцу дорожную сумочку с драгоценными билетами на пароход до Буэнос-Айреса, я устремляюсь в гестапо, в бывший отель «Зильбер». Министр по телефону предупредил о моем приходе. Часовой, пропуская меня, направляет меня к другому часовому. В этом доме вижу только часовых, штурмовиков, эсэсовцев и штатских. В унылой, безрадостной комнате, куда меня привели, слоняются те же три чиновника гестапо, которых уже видела на вокзале. Потом еще один, новый часовой приводит тебя. Гестаповские ищейки с явным интересом ожидают, как мы встретимся после столь долгой разлуки. Их любопытство непристойно.

Ты хочешь прижать меня к своей груди, хочешь меня поцеловать, но это подлое подсматривание подавляет проявление самого искреннего горячего чувства. Какое-то мучительное мгновение мы молча стоим друг против друга, потрясенные до глубины души, но толькожимаем один другому руки, настолько чувствуем себя униженными. По щекам моим текут слезы, в горле комок, не могу произнести ни одного ласкового слова. Ты тоже стоишь словно каменный. Один из трех парней, развалившись за столом, уставился на меня. Из-под кителя торчит полицейская резиновая дубинка. В эту минуту я не чувствую ничего, кроме ненависти. Ненависти и отвращения. Здесь, в штаб-квартире гестапо, где во всех коридорах кишат их агенты, готовые примчаться по первому свистку. Против беззащитной женщины и безоружного мужчины. К тому же их трое. Чиновники. Немецкие чиновники. «Какая низость!» — говорю я. Эти первые прозвучавшие здесь слова вырвались у меня произвольно. Я вовсе не хотела их произносить. Одна из сидящих тварей делает в блокноте стенографические пометки.

Тогда начинаешь говорить ты, сначала запинаясь, с трудом подбирая слова, делая мучительные паузы, словно тебе отказала память. Ты рассказываешь, как жестоко обращались с тобой в лагере Бук и его эсэсовцы. Не только с тобой, но и с многими другими товарищами, находившимися в Куберге. Со все возрастающим чувством страха слушаю твое страшное, беспощадное обвинение. Абсолютно исключено, что после этого они нас отпустят. Я перестаю тебя понимать. Я все сделала для нашего спасения. Твои обвинения здесь совершенно бесполезны. Больше всего я хотела бы зажать тебе рот. Но речь твоя теперь уже обращена не ко мне, внезапно ты кажешься мне совсем чужим со своим изможденным лицом и темными впадинами под глазами, у тебя вид замученного человека, который в этот момент

говорит не о себе и не для себя, а просто взывает к человечеству. Но ведь здесь нет человечества, перед тобой только я. И три немецких гестаповца с резиновыми дубинками, мышинными лицами, пронизывающим взглядом. И старый стол, пустой канцелярский шкаф и несколько стульев. И портрет рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Ах, мой Фред. Стенограф лихорадочно делает записи в блокноте. Будущий протокол того заслуживает. Уже сегодня рано утром, когда тебя выпустили из лагеря, говоришь ты, было ясно, что Бук снова заполучит тебя. Ибо, говоришь ты, он опасается твоих обвинений и разоблачений. Специалист по устранению беспокойных элементов, он окончательно расправится и с тобой, тебе это тоже было ясно. Но разделаться со мной, говоришь ты, ему будет вовсе не так просто, так незаметно, как прежде, не привлекая внимания общественности.

— Когда меня снова к нему привезут, — кричишь ты, — я этим вот кулаком дам ему по морде.

Я чувствую, как мое сердце перестает биться.

— Ибо тогда, — кричишь ты, — он должен будет либо застрелить меня на месте, либо предать суду.

Ты совсем потерял голову. Неужели ты не понимаешь, что этим ты подписываешь собственный приговор?

— Во всяком случае, — кричишь ты, — тогда об этом узнает общественность.

Общественность... Ах ты, храбрый человек. Общественность узнает, что ты застрелен при оказании сопротивления представителям государственной власти или при попытке к бегству. Если она вообще об этом узнает. Ибо в газетах сейчас пишут совсем о другом. В газетах пишут, что Германия стала прекраснее, а мы счастливее. И что непоколебима воля фюрера воссоединить весь немецкий народ. И что после речи фюрера, в которой он говорил об этом, восторженная толпа разразилась овациями и радостными возгласами, которым, казалось, не будет конца. И ты еще надеешься, что общественность, способная на эти бесконечные восторженные овации и возгласы «зиг — хайль», возмутится, если они тебя убьют?

Ты молчишь. Аккуратный чиновник удовлетворенно проставляет под стенограммой дату. Я быстро и бессвязно бормочу несколько бестолковых слов, беру твою руку и, всхлипывая, говорю: до свидания! Ты киваешь в ответ, смотришь на меня добрым, утешающим, обнадеживающим взглядом. Теперь, я чувствую, ты вновь полностью со мной. Затем тебя уводят. В один из темных подвалов старого отеля.

На улице я продолжаю плакать. Через четыре часа уходит

ночной экспресс, который доставил бы нас к пароходу. Через четыре часа ты, может быть, будешь уже убит в лагере Куберг. Прохожие озадаченно, некоторые боязливо сторонятся меня. Они избегают вступать в контакт с теми, кого постигло горе. Ведь я вышла из здания гестапо. В мою сторону лучше не смотреть. Нехорошо видеть слишком много в этой, ставшей более прекрасной и счастливой Германии.

Захожу на почтамт. Пристроившись кое-как на краю стола, за которым уже не было свободного местечка, плохим и ржавым пером пишу господину министру внутренних дел и юстиции. Не придерживаясь установленной формы, без общих фраз, так, как мне диктует мое отчаяние.

От министра приходит ответ. Я должна, пишет он, продлить срок действия пароходных билетов. Из-под предварительного ареста, ставшего срочно необходимым, ты будешь освобожден вовремя с таким расчетом, чтобы наверняка уехать следующим пароходом. Я в это не верю. Тем не менее, когда в указанный день я жду тебя у здания гестапо в Штутгарте, ты действительно спускаешься вниз по лестнице, и ты действительно свободен.

Согласно предписанию гестапо, мы можем выехать лишь на следующий день. Мы идем к моей невестке Анне в Меттинген. Весь путь проходим молча. Рука об руку.

У невестки тоже почти не разговариваем. Ни слова о прошлом, очень мало о будущем. Позднее, когда нас оставили одних, мы совсем умолкаем. Счастье этого часа тихо кладет палец на уста. Даже сегодня, после того как оно стало всего лишь тенью воспоминания. Излишне о нем напоминать. Об этих мгновениях я думаю, затаив дыхание. Есть в жизни события, рассказать о которых невозможно. Это свидание из их числа.

Среди ночи раздается звонок, пронзительный и тревожный. Я лежу в оцепенении. Кетле проснулась и дрожит от испуга. Ты мгновенно вскакиваешь.

— Они уже снова здесь, — говоришь ты глухо.

Слышно, как открываются двери в коридор, затем шаги невестки. Она, видимо, бранится. Я слышу, как она говорит: это подло. Значит, все-таки пришли.

Но вот они уже рывком открыли дверь. На этот раз трое других. Снова из уголовной полиции. И также в макинтошах. Жирные, розовые лица. Низменное любопытство. Моя грудь обнажена. Хочу застегнуть блузку, но пальцы не слушаются. Меня всю трясет, хотя я не чувствую холода. Ты уже в соседней комнате, полуодет, в сорочке и брюках. Только когда Анна набрасывает мне на плечи пальто — я хочу идти с тобой, — замечаю, что я в ночной сорочке.

Конечно, они снова забирают тебя. Наша встреча продолжалась несколько часов. Наедине мы оставались один-единственный час.

По крайней мере они позволяют мне сопровождать тебя. Ночью, в кромешной тьме, нас гонят из Меттингена в Эслинген. Как зверей. Из многократного горького опыта я уже знала — эти гнусные парни с револьвером в кармане не делают различия между скотом и нами. Как зверей. Через определенные промежутки времени в зыбкой темноте выплывают фигуры все новых гестаповских ищеек. Они явно стояли на страже, с тем чтобы в случае попытки к бегству пристрелить нас на месте. В темноте видны силуэты домов Эслингена. Гулко и вызывающе звучат паши шаги перед их уснувшими фасадами. Неужели никто не проснулся, взволнованный этой трагедией в ночи? Неужели за этими окнами ни одно ухо не слышит зловещего топота солдатских сапог? Неужели ни одно сердце не забилося учащенно, ни в ком не заговорила совесть? Нет, Германия спит. Спит сном праведника. Черные тени деревьев. Резкий крик ночной птицы. Перебежавшая дорогу кошка. Журчит фонтан. Неужели мы в двадцатом веке?

Ты хочешь уговорить меня уехать одной с Кетле в Америку, твои доводы логичны и убедительны. Они продиктованы твоей заботой о нас. Я говорю, что нам пока еще точно неизвестно, действительно ли они тебя задержат, но это просто отговорка. Этот ночной эскорт, напоминающий суды инквизиции, не оставляет никакой, даже самой крохотной надежды. Все происходящее напоминает бульварный роман, но это действительность. У меня не попадает зуб на зуб, я дрожу всем телом и всячески пытаюсь скрыть это от тебя. Ты хочешь подбодрить меня.

— Теперь надо крепиться, — говоришь ты. — Если даже никто не вернется, я обязательно вернусь. В этом ты можешь быть совершенно уверена.

Я в этом совершенно не уверена. Я думаю о Буке и прекрасном поводе — прекрасном, сказал министр юстиции, — который ты ему предоставил. На что же остается рассчитывать?.. Ты хочешь добиться судебного процесса, или произойдет катастрофа. Ах, я хорошо знаю, что на такого бойца, как ты, обычные доводы производят мало впечатления, и слова твои не могут меня утешить.

Перед полицейским участком в Эслингене тебя в наручниках втаскивают в ожидающую тебя машину. Когда я хочу вскочить на подножку отъезжающего автомобиля, один из гестаповцев ударом сапога сбивает меня с ног, падая, я ударяюсь головой о край

сточной канавы и теряю сознание. Прихожу в себя только на рассвете, когда появляются рабочие, идущие в первую смену. Они принимают меня за гулящую девку, которая наконец протрезвилась. Их вульгарные оклики заставляют меня быстро подняться.

В пекарне, где уже горит свет, я спрашиваю адрес твоего брата. Вспоминаю, что он живет где-то здесь, неподалеку. Еще очень рано, но он уже на ногах. Хозяйка приносит горячее молоко; чтобы не обидеть добрую женщину, с трудом его проглатываю. Твой брат трогательно заботлив. Первым трамваем мы вместе едем в город к министру юстиции. Мы застаем его еще дома, и нас к нему впускают.

К сожалению, в это дело он больше вмешиваться не может. Ибо этот новый арест произведен по приказу Мурра. Имперского наместника, говорит он. По моей просьбе он звонит по телефону: да, тебя вновь доставили в гестапо.

Теперь я знаю, что ты не в лагере, по меньшей мере пока еще не там, и вновь начинаю напряженно думать. Я хочу идти к Мурру, сейчас же. Твой брат советует не действовать опрометчиво. По его мнению, сначала необходимо придумать способ, как до него добраться. Способ? Жена Мурра. Правда, я ее оскорбила, но это было давно, больше двух лет назад. Она меня поймет. Она женщина, как и я, имеет мужа, как я, ребенка, как я, она должна меня понять. Возвращаться в лагерь тебе нельзя.

На вилле у Мурра еще спят. Толстая кухарка впускает меня через черный ход. Она, несомненно, добра и явно не слишком высокого мнения о человечности своих господ. Благодаря ее ходатайству я достаиваюсь быть выслушанной дамой из общества, почтенной фрау Мурр. Она весьма неласкова, дурно настроена, очень сожалеет, но должна мне сказать, что сейчас ее супруг еще отдыхает, а, впрочем, на принимаемые им решения по делам политическим она никакого влияния: не имеет. Мне надлежит обратиться непосредственно в канцелярию имперского наместника, да, я знаю, это на вилле Райтценштайн.

С этими скудными сведениями я удаляюсь. Красивое здание благородных архитектурных пропорций маячит в затаенной тишине — сдержанно и высокомерно. За опущенными шторами спит человек, одно слово которого могло бы меня спасти. Всего три года назад он ничего собой не представлял, сейчас имеет все, чего только пожелает его душа. Он спит крепким и спокойным сном. Коль чиста совесть, спи спокойно до утра. Так хорошо спать я не могу. Я утомлена от бессонной ночи, буквально валюсь с ног, но сна нет.

Твой брат, ожидавший меня у подъезда, ругает зазнавшихся

бюрократов. Неожиданно у меня возникает ощущение, будто ты находишься на другой планете, на которую я при помощи любых средств попасть не смогу. Мысль о том, чтобы добиться твоего спасения, уже теряет всякую убеждающую силу. Меня охватывает чувство глубокой безнадежности, парализующей все мое существо. Чего, собственно, я хочу? Я, жена так называемого врага государства, бедная, беспомощная, сама «политически неблагонадежная», уже однажды сидевшая в тюрьме и теперь, несомненно, занесенная в один из черных списков. Разве не чистое безумие с такими данными и в таком деле рассчитывать встретить в гаулейтере или имперском наместнике сочувствующее сердце и готовность отменить им же принятые меры? Это безумие, и теперь я сознаю это.

И все-таки иду в канцелярию имперского наместника, чтобы там дожждаться его самого. Это не имеет ничего общего с мужеством. Как и с трезвой рассудительностью. Я действую чисто механически, подгоняемая отчаянием. Конечно, оттуда меня выгоняют.

Итак, ты снова попадешь в лагерь. Билеты на пароход пропали. Мебель продана. А тебя ожидает Бук.

У невестки в Меттингене я забираю Кетле и еду с ней к матери. Чтобы хоть раз иметь возможность так же хорошо выспаться, как имперский наместник Вюртемберга, глотаю горсть снотворных таблеток. Много это или мало, не знаю, но в ту же ночь меня забирают в больницу тяжелобольной. Там в состоянии Полной апатии я пролежала четырнадцать дней.

Когда я уже снова дома, приходит Петер. Два дня назад его выпустили из Куберга. Первый визит ко мне. Я едва стою на ногах, так еще слаба. Петер это видит ж спешит уйти. Он зашел лишь на минуту сообщить, что ты опять в Куберге. Не могла бы я что-нибудь для тебя сделать? Он берется за шляпу, но я его удерживаю. Так долго упрашиваю, умоляю и заклинаю, что он начинает говорить. Он рассказывает сбивчиво, запинаясь, часто внося в свой рассказ поправки с явным намерением меня пощадить. Рассказывает он следующее.

Твое возвращение в лагерь было обставлено очень пышно. Для встречи с тобой Бук приказал выстроить всех заключенных на тюремном дворе. Тебя в наручниках вели перед строем. Бук держал речь. Ты в Штутгарте распространял ложные сведения о плохом обращении с заключенными в лагере. Ты осмелился заявить министру юстиции, что здесь над людьми издеваются, их стегают плетью. Ты лгал представителям правительственного аппарата, что даже он, комендант лагеря, лично избивает заключенных. Верно ли это, спрашивает он. Он спрашивает,

найдется ли здесь хоть один человек, который осмелится это утверждать. Когда ты хотел прервать его речь, он плетью ударил тебя по лицу. Никто не проронил ни слова. Возможно, это было к лучшему, в противном случае Бук наверняка избил бы тебя до смерти. Роберта Диттера, твоего хорошего друга, накануне ночью заставили сделать деревянную клетку, куда бросили тебя в оковах. Нашлись наци, которым доставило удовольствие плевать на тебя через решетку.

Через несколько дней тебя отправили в Ульм к друзьям Бука, чтобы и им доставить удовольствие потешиться над тобой. Начальника ульмской земельной тюрьмы ты однажды в ландтаге резко критиковал за плохое обращение с заключенными. Кроме того, во время первой мировой войны этот человек рассматривался Францией как военный преступник, обвиняемый в издевательствах над военнопленными. Теперь тебя отправили к этому человеку. Что происходило там с тобой, в лагере не знали. Но когда тебя привезли из Ульма, ты выглядел так, что все ужаснулись. Потом тебя бросили в темный карцер. Это была вырытая в земле яма, перекрытая сверху толстыми брусьями так, что они находились на небольшом расстоянии друг от друга. Для штурмовиков любимым развлечением было пролетать на мотоцикле на полном ходу по этим брусьям, и тогда мокрые комья грязи летели тебе прямо в лицо. Сверху тебя поливало дождем, ты замерзал от холода. Рискуя жизнью, товарищи подбрасывали хлебные корки в твою страшную яму. Мой дорогой, мой любимый, бедный ты мой!

Петер удивляется, что у меня не подкашиваются ноги, когда я слушаю все это. Что после этого я еще в состоянии как-то держаться. Что очень спокойно и разумно рассуждаю о возможностях какого-то протеста или ходатайства в Берлине. Я и сама удивляюсь. Очевидно, способность сердца ощущать боль тоже имеет свои границы. То, что за пределами этих границ, уже не воспринимается.

В ту же ночь я еду в Берлин.

Берлин я не знаю, и мне надо как-то сориентироваться. Это город-монстр. У него уродливо большая голова рахитика, которая, злобно ухмыляясь, замышляет недоброе. Еще никогда в жизни я не была так одинока и покинута богом, какой оказалась здесь, среди четырех миллионов. Для номера в гостинице моих денег не хватает. Поэтому живу у Альбертов. Знаю, что ты скажешь. Но куда же мне деться?

Некогда Альберты были товарищами по партии. Теперь, хорошо настроенные, хорошо одетые и хорошо упитанные, они твердо стоят на почве реальности. Что касается убеждений, он —

полное ничтожество и беспринципный негодяй, однако на начищенной до блеска табличке на входной двери это не значит. Там написано — редактор. Газете нужен мошенник, владеющий орфографией и лишенный совести. Они не оспаривают того, что предали рабочих и не отрицают, что игра стоила свеч. Раньше это были представители презируемого буржуазией низшего слоя общества, теперь у них прекрасная четырехкомнатная, отлично обставленная, комфортабельная квартира. И, как положено, портрет Гитлера над письменным столом. Здесь, конечно, куда уютнее, нежели в твоём темном карцере в Куберге.

При встрече со мной они не ощущают угрызений совести, они лишь удивлены. Они мнят себя умными и несравненно более дальновидными, ибо вовремя перестроились. Их готовность помочь носит характер покровительства и явно показная. Возможно, они действительно рады моему посещению, так как мой жалкий вид служит прекрасным фоном, на котором еще более контрастно выделяется их сияющее счастье. Им неведома нужда, у них текущий счет в банке. Они не знают, что такое отчаяние, напротив, они довольны и радостны, ничем не обременены. Жизнь, говорят они, — это игра, в процессе которой друг друга надувают, дразнят, обхаживают, а потом бьют козырем. Они знают правила игры. Знают, что такое жизнь. Только одного не знают: нас! Дети, говорят они, подтрунивая, ну как же можно быть такими глупыми. Такими глупыми. И для кого?

У них я живу. Живу? Сплю! Целыми днями в бегах. Жду. Жду в скучных, скудно обставленных канцеляриях, пышных приемных, в коридорах, устланных красными дорожками. До сих пор прихожу в бешенство при виде красной кокосовой дорожки. Это все с той поры. Так жду три дня, изнуренная, измотанная, голодная, нервничающая, падающая духом, полная трепетной надежды. Пока в одном из министерств меня наконец выслушивают, рассеянно делают какие-то заметки и обещают дело расследовать. Большого добиться не могу. Помогло ли это тому, что через несколько недель тебя из Куберга переводят в концентрационный лагерь Дахау, сказать не могу. Возможно.

Из Дахау от тебя поступают письма. Правда, мало и редко. Но, по крайней мере, знаю, что ты жив. Это уже много. Постепенно мы учимся намеками и между строк передавать сведения, ускользающие от внимания цензоров. Часто, однако, в конверте остается всего несколько строк, весь остальной текст вымаран.

Это безотрадное время, исчисляемое не днями, неделями и

месяцами, а скупыми письмами. Это не сон и не жизнь. Ночами напролет лежу в постели с открытыми глазами и размышляю о наших бедах. Слышу бой часов, который меня не касается. Топот марширующих на улице сапог. Звуки радио у соседей за стеной и в верхних этажах. Фанфары и победные прусские марши неумолимо терзают мое растерянное сердце. Какой смысл противиться всему этому? В душу закрадываются боязливые сомнения. Каждый день с зловещей точностью сбываются наши прежние смутные предчувствия. Гитлер торжествует. Его власть незыблема. Большинство народа ее поддерживает. Миллионы альбертов, стремительно и с обезьяньей ловкостью приспособившиеся к реальности, ее одобряют. А если последовать их примеру? Верноподданнически настроенные обыватели нашего небольшого города с развевающимися штандартами перешли на сторону Гитлера. Также и некоторые, без всякого на то права называющие себя красными пролетариями. Какой нам смысл упорствовать? Кому это на пользу? Во имя чего ты приносишь себя в жертву? Ради кого страдаю я? Вокруг образуется все большая пустота. Друзья исчезают. Завидев меня, сворачивают в боковые улочки. Если кто-либо спрашивает о тебе, то делает это украдкой, с опаской поглядывая по сторонам. Почтенные граждане этого города, деловые люди, уважаемые и состоятельные, просят извинения за то, что вынуждены меня игнорировать — у них семья, дети. Так велик страх перед этой призрачной властью.

— Кто теряет эту жизнь, — сказал мне однажды Густав Лахенмайер, вышедший из тюрьмы совсем седым, — не только теряет очень мало, он не теряет ничего.

— Что касается нас, — говорю я, — это, к сожалению, все, что мы могли бы потерять. Так начинаются наши дискуссии. Мы беседуем часами. О боге и мире. О политике. Большею частью о смерти. У нас есть все основания к этому. Для гестапо достаточно уже одного того, что мы встречаемся. Невзирая на это, наши встречи продолжаются. Теперь у меня снова есть собственная комната, пусть очень скудно обставленная. Во всяком случае, я и Кетле можем быть здесь одни. У родителей слишком тесно, чтобы находиться там долгое время. И теперь друзья приходят ко мне, Густав, Зепп и Лоре, Фиф, Карле, Оск и Оттль, — все это товарищи, никаких альбертов. Люди, на которых могу опереться. И они могут иногда смалодушничать, но, как ты видишь, в большом они не будут колебаться никогда.

Последние два года я живу очень скромно. Тем не менее одиннадцать марок недельного пособия не хватает для самого необходимого. Я должна искать работу. Поиски комнаты были

унизительны, поиски работы — настоящий крестный путь. Куда бы ни пришла, всюду одно и то же. Работу? Разумеется. Замужем? Где муж? В Дахау? Ах так, в концентрационном лагере? Да, тогда конечно... Но столь вежливое обхождение — большая редкость. Иногда я рада, что тебе не приходится принимать в этом участие. Мне все омерзительно, когда вечером после этих бесплодных поисков, смертельно усталая, добираюсь до дома. Кетле голодна. Она не сводит больших глаз с хозяйственной сумки. Что сегодня на ужин? Масла опять нет. Ничего, храбро говорит Кетле. Как она бледна. Как бледна и как вытянулась за это время, платице ей уже коротко. Требуется ремонта обувь. Пришел счет за свет. Радио за стеной грохочет и лает. Я не хочу его слушать, но как удары молота обрушиваются на мое болезненное сознание слова фюрера: работа облагораживает женщину и мужчину, ребенок облагораживает мать. Ложусь поздно. Кетле улыбается во сне. Завтра снова на поиски работы.

На следующее утро у меня обыск.

Господа уведат меня в полицию. Плачущей навзрыд Кетле я даю ключ от комнаты и отсылаю ее к бабушке. Если к полудню не вернусь, значит, я отправилась вслед за отцом.

В полиции мне предъявляют обвинение в том, что я даю приют нелегальным партийным активистам. Говорю, что ко мне приходят люди, очень хорошо известные полиции, поскольку они, как и я, находятся под ее надзором. Так как знаю о существовании провокаторов и, более того, шпионов, в свою очередь наблюдающих за ними, я, разумеется, крайне осторожна.

В конце концов допрашивающий меня чиновник гестапо господин Тумм раскрывает карты. Им нужен находящийся на нелегальном положении партийный активист, который разыскивается уже давно. Известно о нем лишь то, что он очень энергичен, осторожен, часто меняет место своего пребывания, поэтому сведения о нем крайне скудны. С чистой совестью могу сказать, что его не знаю — действительно я не знаю его. Полиция предполагает, что, вынужденный часто менять жилье, он однажды будет искать убежище у меня.

— Знаете что, — говорит внезапно господин Тумм, он говорит это подчеркнуто вскользь, будто это самое естественное дело на свете, — мы заключим с вами выгодную сделку. Вы поможете нам взять этого парня, а мы отпустим вашего мужа.

— Вы?.. — спрашиваю я растерянно.

У него руки в карманах, хочет, верно, показать, какая он важная персона, но он жалкий человек, я вижу это сразу.

Он обиженно восклицает:

— Да, я! Или сомневаетесь? Не думаете ли вы, что я не в

состоянии освободить вашего мужа?

Конечно, не может, если этого не может даже министр юстиции.

— Нет, не сомневаюсь, — лгу я, ибо постепенно начинаю понимать, что сейчас здесь происходит нечто большее, чем простой допрос.

— Ну вот, — говорит господин Тумм, до некоторой степени успокоенный, но все же он продолжает нервничать, прикладывает руку к груди, словно пытаюсь утихомирить свое взволнованное сердце. При этом он как бы случайно касается партийного значка на отвороте мундира, и в этот момент становится строгим, физиономия значительной, как у маленьких людишек, принимающих важную позу перед тем, как начать речь.

— У меня полномочия... — говорит он торжественно, — можете мне поверить.

На самом деле у него всего лишь задание организовать розыск преследуемого неизвестного активиста. Да еще, самое главное, в нем живет страх от боязни, что это не удастся. Страх и тщеславие. Видимо, ему очень хочется самому dokonать свою жертву. Судя по всему, он новичок, недалекий, но обуреваемый желанием сделать карьеру. Чванливый карьерист, принимающий свою подлость за проницательность. Его фамилия вполне оправдана, потому я хорошо ее запомнила^[4].

— Вы, наверное, удивлены, — говорит он самодовольно и закуривает, делая это нервно и торопливо, — что я открываю свои карты?

Большими шагами он ходит по кабинету взад и вперед. Внезапно останавливается.

— Я знаю, почему играю с открытыми картами!

Я тоже знаю. Потому, что я ему нужна. Потому, что он хочет использовать меня как приманку. Обещание освободить тебя — чистое надувательство. Это он считает проницательностью. Теперь он останавливается подле меня.

— Ведь могу я рассчитывать, — говорит он почти умоляюще, в эту минуту он сама искренность и откровенность, — ведь могу я рассчитывать на вашу честную помощь, поскольку я говорю с вами так откровенно и доверительно. Или нет?

— Почему же... — говорю я тихо, напряженно вглядываясь в его мерзкую рожу. Честная помощь, думаю я, откровенно, доверительно...

— Ну вот, — говорит он с явным облегчением, опускаясь в кресло, — значит, мы договорились.

За этим следует ряд указаний, каким образом должна я оповестить полицию в случае, если ко мне придет человек,

которого они ищут, и как мне задержать его до прихода представителей власти. Обещают хранить мое имя в тайне. Потом меня отпускают.

— Что ждет вас, — говорит, прищурившись, господин Тумм, когда я уже поворачиваю ручку двери, — что ждет вас, если вздумаете нас одурачить, вам прекрасно известно!

Это я знаю. И все же, если незнакомец появится у меня, я предупрежу его и окажу всяческую помощь. Это само собой разумеется. Как и то, что господин Тумм не выпустит меня из поля зрения, если человек, за которым он охотился, от него ускользнет. В любом случае меня он не упустит. Даже если преследуемый вообще не появится. Тогда, вероятно, тем более. Ибо тогда тщеславная гестаповская ищейка потеряет шансы на успех. Свою ярость он, несомненно, выместит на мне. Он сразу же обвинит меня в том, что я предупредила незнакомца и укрывала его. Так будет в любом случае.

Рассуждая трезво, я при всех обстоятельствах могу лишь проиграть эту «откровенную и честную», эту дьявольскую гестаповскую игру. Так вот оно что! — осенило меня. Сознание этого было столь потрясающим, что я останавливаюсь посередине улицы. (Вероятно, я остановилась.) Ибо внезапно кто-то схватил меня за руку, мимо проносится машина с резко скрипящими тормозами, и сразу вокруг меня люди, какой-то мужчина взволнованно кричит, что еще миг — и я была бы под автомобилем. Будто это так страшно. Мужчина явно разочарован и оскорблен, ибо я смотрю на него с удивлением. А как по-иному я должна себя вести? Тоже вопить? Или сказать ему, что рано или поздно меня арестуют, оторвут от моего ребенка и заключат в тюрьму? Вопреки праву и закону? Просто потому, что мелкий и тщеславный гестаповский шпик хочет выслужиться? И что тогда ни одна из этих любопытствующих женщин, которые сейчас так участливо хлопочут подле меня, не будет выражать свой испуг или тем более возмущение? Такова жизнь. Такова моя жизнь. Жизнь ли это?

Что знают эти люди обо мне... Глубоко разочарованные, они поворачиваются ко мне спиной. Идут своей дорогой. Им нечего бояться, они ничем не обременены. Ничего не знают о розыске партийного активиста. Гестапо не раскрыло перед ними свои карты, никакой проницательный господин Тумм не ждет от них «честной помощи». Они не загнаны в угол, как я, им не угрожают усиленный полицейский надзор, допрос, новый арест, встреча с незнакомцем. Хотя я не знаю ничего о нем, так же как и они, однако они стоят на почве фактов, а я — нет. Поэтому они спокойно могут пребывать в хорошем настроении, не ведая

тревог, заниматься своим делом, довольными и веселыми сидеть в кафе, или щурить глаза на солнце, или наблюдать за играющими на улице детьми.

Ничего этого я не могу. Я могу только ждать. Ждать тебя. Незнакомца. Гестапо. Как отшельница, все еще стою здесь, посредине улицы. Я ходила по ней еще ребенком, это улица моего родного города, знаю эти дома, магазины, арки, людей, но всему этому я больше не принадлежу. В этом мире нахожусь, можно сказать, только временно, меня ничего больше не связывает с милыми приметамии моей жизни, которые с удовольствием созерцаю и слышу, но мое сердце растеряннo и ощущает их как мучительную насмешку. И я медленно иду домой.

Конечно, Кетле не была у бабушки. Съежившись, сидит она перед входной дверью, в судорожно сжатой ручонке ключ от двери комнаты, она устала, много плакала и наконец уснула. У нее прерывистое дыхание, личико подергивается, видно, страх преследует ее и во сне. Я укладываю ребенка в постель и долго сижу подле кровати, словно окаменев, пленница моей безысходности и моего страха. Кружатся в голове мысли. Собственно, это лишь одна мысль, которая все время возвращается, на которой я неразумно упорствую, но затем отбрасываю ее и все же вновь и вновь обдумываю. Это низкая и подлая мысль, столь же гнусная, как сделка, которую я в тот момент могла бы заключить, если бы, неопытная в оценке соотношения сил, поверила в надменную самоуверенность Тумма и не понимала, что этот субъект всего лишь плывущая по течению пешка. В таком полном отчаянии нахожусь я в эту минуту.

Со свойственной тебе природной порядочностью ты никогда этого не поймешь. Возможно, я должна была бы более подробно обосновать сказанное, но я не сторонница громких фраз. Мысль заключить с гестапо грязную сделку, предать товарища — это мысль о единственной возможности нас спасти. Спасти тебя. Я твоя жена. Ты отец моего ребенка. Ведь ты понимаешь это. Для меня любовь всегда была выше политики, или, если хочешь, выше идеи, и все же ради идеи, а не любви я пожертвовала всем. Вот видишь. Поэтому ты можешь спокойно простить мне эту мысль. Единственный раз, когда я проявила слабость.

Проходит и эта ночь. Я жду, я все время начеку и ни с кем из товарищей, кроме Зеппа Кнедлера, переправлявшего с моей помощью дальше информационные материалы, об этом не говорила. Зепп надежен, скрытен, хорошо информирован. Правда, о человеке, которого разыскивают, он тоже ничего не знает. Со временем моя настороженность ослабевает, я едва ее ощущаю, облегченно вздыхаю, чувствую себя увереннее, надеюсь,

надеюсь...

Однажды в воскресенье утром раздается стук в дверь. Входит худой бледный человек, осматривается в комнате, передает привет от нашего школьного товарища Германа Нудинга, говорит, что послан им для того, чтобы не допустить спада налаженной нелегальной работы, говорит, что на его след, вероятно, напали и ему необходимо скрыться. Все это он говорит очень спокойно, дружелюбно, у него внимательный взгляд.

Это он. Это тот незнакомец. Это судьба. Теперь я уже не могу избежать встречи с ним, теперь я должна принять решение.

Я предостерегаю его. Рассказываю ему всю историю с Туммом. Заклинаю его немедленно уехать за границу. Он покачивает головой, воспринимает все это не так трагически, он прежде всего должен передать мне все материалы о проделанной им работе в нашем округе. Пусть заслуживающий полного доверия товарищ заберет у него все документы, лишь после этого он попытается уехать за границу.

Я направляю к нему Зеппа. Он не возвращается.

За мной приезжает сам шеф штутгартского гестапо, Мусгай. На машине доставляют меня в Штутгарт. По крутой винтовой лестнице меня пинком швыряют в камеру, находящуюся в подвале здания гестапо. Это настоящая дыра. Когда глаза привыкают к полумраку, различаю вделанную в стену каменную скамью. Гладкая железная дверь. Стены с крупнозернистой штукатуркой, вероятно для того, чтобы на них нельзя было нацарапать лозунг или какую-нибудь информацию.

Я ничего не чувствую. Сажу, скрючившись, на скамье и дремлю. Думать трудно. О многом думать не приходится. Моя голова, эта многострадальная посуда, пытается мыслить ясно. Успел ли скрыться друг Германа? Схватили только меня и Зеппа? Допрашивали ли уже Зеппа? Выдержит ли он пытки? От этого зависит все. Выдержит ли он пытки?

В эту ночь меня не допрашивают, а отправляют в полицейское управление на Бюксенштрассе. Там тюрьма, куда свозят и политических, и уголовников. Она расположена в центре города, но настолько загажена, что пользуется плохой репутацией и широко известна под названием «бюксенская помойка».

Прием заключенных начинается с предписанных инструкцией унижений, именуемых на служебном языке безобидным словом «формальности». Личный обыск — нечто значительно большее, чем просто раздевание. Отпечатки пальцев для картотеки с фотографиями преступников с первого раза, конечно, не удаются, и их приходится снимать вторично. Представители исполнительной власти — официальный язык не смог придумать

лучшего определения для этого сорта людей, — раньше безработные и крестьянские сынки этой благословенной страны, теперь же полицейские в зеленых мундирах и в общем-то жалкие существа, воображают себя очень важными особами, грубо понукают и всячески торопят. Меня подталкивают к фотоаппарату.

— Что вы тарашите, как идиотка, глаза, — кричит фотограф, — смотрите прямо перед собой.

Я смотрю прямо в пустое, перекошенное злобной усмешкой лицо, олицетворение казенного бездушия, лицо «молодой Германии».

Потом меня отводят в камеру к двум женщинам. Тем временем наступил вечер. Железные койки отвинчиваются от стен, а белье — его по утрам выносят, а вечером возвращают — уже на столе. В камере воняет хлором из параша и давно немывшимися людьми. Женщины почти не обращают на меня внимания. Стою здесь как непрощенный гость. В глазок двери время от времени подсматривают шпионящие надзиратели, серые подкарауливающие маски, пристальные взгляды. Иногда дверь открывается, и полицейский заглядывает внутрь. Любопытство вызывает «новенькая», «новенькая» — это я. Сажусь у стола спиной к двери, чтобы не видеть глазок. Железный стол и железная табуретка наглухо привинчены к полу. Доска стола вся от края до края исцарапана сентиментальными излияниями, уверениями в невиновности и мольбами к богу о помощи. Я обхватываю руками голову и пытаюсь думать. Женщины стоят у своих коек и тихо разговаривают друг с другом. К их беседе я не прислушиваюсь. Меня мучает неизвестность: удалось ускользнуть другу Германа или он тоже арестован? Я должна неторопливо все обдумать, быть готовой к защите. В любую минуту могут вызвать на допрос.

Однако вызывают меня лишь по истечении трех бесконечно долгих дней. В тюремной машине зеленого цвета, ее прозвали «зеленой Минной», меня везут в гестапо. На улице тепло. Сияет первое весеннее солнце. Сквозь узкую щель в окне возле сиденья водителя я на какое-то мгновение вижу озаренный солнцем мир, чувствую приближение весны. Даже через это крохотное отверстие я ощущаю в пестроте быстро мелькающих картин радостное настроение. Улицы полны людей. В движущейся толпе ярко выделяются первые весенние светлые платья, в скверах детские коляски, на деревьях и кустарниках первый нежный зеленый пушок, на всем печать радостного и счастливого возбуждения. Никогда я не знала, что мир может быть так прекрасен. Я могла бы потрогать его рукой, между ним и мной

лишь тонкая стенка автомобильного кузова. Но как недостижимо далек он.

— Я не позволю себя дурачить, как этот Тумм, зарубите это себе па носу! — выкрикивая это, инквизитор гестапо Мусгай подпрыгивает, эти слова он буквально бросает мне в лицо. Мусгай, начальник центрального управления гестапо в Штутгарте, известен своей набожностью. Есть в нем что-то от карлика, но за письменным столом он кажется выше, чем на самом деле. Он не кричит, а визжит.

— Если вы у меня не заговорите... так вы и видели своего ребенка, понятно вам?

Я его понимаю. За этим следует поток грязной брани. Очевидно, я должна потерять всякое самообладание. Но за это время я кое-чему научилась. Я знаю, что к так называемым политическим подход более свирепый, чем к обычным подследственным заключенным. Поэтому я равнодушно даю пронестись надо мной этому взрыву ярости. Возможно, думаю я, этот тип выдохнется. Но мое спокойствие окончательно приводит его в бешенство. Его шантаж и угрозы отнюдь не пустые слова. Он может и наверняка твердо решил использовать все средства, чтобы меня доконать. Но мне действительно нечего сказать. Утром я чувствую крайний упадок сил. Днем меня тошнит, мне страшно. Рано утром с трудом заставила себя проглотить кофейный отвар, налитый в погнутую жестяную миску. К обеду не могу прикоснуться, хотя от вызванной голодом тошноты выступает холодный пот. Сильно болит голова, и общее самочувствие ужасное.

После обеда снова стою перед фыркающим карликом.

— Ну-с, — начинает он, — придумали вы за это время что-нибудь получше?

Собираю все силы, чтобы взять себя в руки. Только бы не упасть, в страхе думаю я.

— Ну давай, — кричит и мечется передо мной садист, — хватит молчать, выкладывай!

Конечно, я молчу.

И тогда он вдруг начинает дико орать.

— Я отучу вас пожимать плечами, будьте уверены! — вопит он. — Я брошу вас в концлагерь, там можете пожимать плечами, пока не сдохнете, понятно? Я заставлял говорить и не таких, как вы, этакая будущая народная комиссарша! И вообще, знаете ли вы, какая мера наказания вас ожидает? Десять лет, и без всякой надежды выкарабкаться! Понятно вам? Без всякой надежды! И где — в концлагере!

Мне очень плохо. Стены комнаты закачались. Могу устоять на

ногах, только держась рукой за край стола.

— Это еще что пришло вам в голову, — орет этот тип срывающимся голосом и вскакивает, — стойте прямо, когда со мной разговариваете! Или не знаете, где находитесь?

Он беснуется, склоняется над письменным столом, как над церковной кафедрой, и угрожает мне всеми карами на свете.

Через несколько часов он выдыхается и приказывает меня увести. Сильным пинком меня выбрасывают из кабинета в коридор и далее к выходу. «Зеленая Минна» возвращает меня в тюрьму, в камеру к двум женщинам. Смертельно усталая, в эту ночь я сплю так крепко, что ничего не слышу, ни шума, поднятого доставленными в тюрьму пьяницами, ни того, как их избивают.

Происходило ли иногда нечто подобное и с тобой, мой дорогой? Во время допроса ты — само спокойствие, железное равнодушие. Ужасна реакция после того, как вновь оказываешься в камере. Ты вся дрожишь, полностью утеряна власть над расхोдившимися нервами, необходимо крепко держаться за стол или лечь на пол, пока нервы медленно успокоятся, и ты погружаешься в глубокий, бездонный сон, подобный смерти.

Именно такое происходит и со мной. Хотя я в тюрьме не впервые, между предварительным арестом тогда и нынешним полицейским арестом большая разница. Нынешний арест не рассматривается как предварительное заключение, и при вынесении приговора время, проведенное в тюрьме, не засчитывается. Несмотря на это, с самого начала ведешь счет дням, словно позднее их зачтут. Так поступают все. Обманывают самих себя, но в сознании откладывается, что время все-таки идет. Это приносит утешение и жалкую надежду. Когда душой владеет уныние и скорбь, это не так уж мало, а порой и единственная слабая опора.

Первое время тюремные порядки были для меня сплошным мучением. Мысль, что я никогда не смогу к ним привыкнуть, превращается в навязчивую идею и приводит в отчаяние. Мне очень скоро становится ясно, что для тюремщиков каждый заключенный — непременно преступник, соответственно с ним и обращаются, в том числе и с тем, чья вина еще должна быть доказана.

И, конечно, на политических смотрят как на особо опасных преступников. Тюремная администрация и полицейские поступают с нами, как им заблагорассудится. И прежде всего — охранники из полицейских школ. Молодые, лихие ищейки. Одетые в мундиры, хорошо вымуштрованные, слепо повинующиеся, натравленные на людей подонки общества. Это их злобные рожи выслеживающе подглядывают в глазок, это они

изобретают всяческие мелкие каверзы, которыми нас терзают, это они награждают нас тумачами, это их рев, их гнусные, пошлые остроты, их брань делают нашу жизнь невыносимой. Более пожилые полицейские чиновники ведут себя приличнее. Возможно, потому, что они хотят быть прежде чиновниками, а потом уж ищейками. Они так же суровы и грубы, но в то же время в их поведении есть даже налет известного добродушия, они не так резко выраженные садисты, как молодые. Порой они раньше положенного времени наливают в кувшин свежую питьевую воду или в качестве туалетной бумаги принесут целую, не разрезанную на куски газету, которую можно будет прочесть. Молодые же, напротив, чуть не лопаются от служебного рвения, стараются насаждать военную муштру, рычат, требуют стоять перед ними навытяжку. Беда, если ты замешкалась с выполнением приказания, которое невнятно прорычал тюремщик. Тогда ты по меньшей мере дрянная потаскуха или вонючая свинья. В течение дня такое слышишь довольно часто. Иногда я не могу себе представить, что у этих парней есть матери, жены или невесты. Какими должны быть эти женщины?

Одну из моих соседок по камере зовут Жанной. Она обязана ежедневно мыть посуду на тюремной кухне. Что я говорю: обязана? Ей разрешили! Она в заключении три месяца, как и ее друг. В дни получки он собирал деньги со своих товарищей по работе для жены брошенного в концлагерь антифашиста. Жанна категорически утверждает, что ей об этом ничего не было известно. Тем не менее ее арестовали. Если же она это знала, то с точки зрения полиции, тем более обоснован ее арест. Ну а по существу? Какое отношение имеет Жанна к сбору ее другом добровольных пожертвований? Никакого. Несмотря на это, ее посадили. Хоть бы знала за что. Возможно, за угрозу безопасности народа и государства. Каким же должен быть этот народ, не говоря уже о государстве! Часами могу размышлять об этом. Перед мысленным взором проходят разные известные мне люди. Каждого в отдельности нельзя считать причастным к творимым в стране преступлениям, но, взятые вместе, они составляют именно этот народ. Мой народ. Как это стало возможным? Непостижимо. От этого можно сойти с ума.

Жанна не такая героическая девушка, какой была ее знаменитая тетка, причисленная впоследствии к лику святых, и все же она настоящий молодец. Работая на кухне, внимательно ко всему приглядывается, прислушивается — и слышит многое, что нам знать интересно и полезно. Однажды ей удастся подслушать о том, что в тюрьме находятся еще трое политических из моего родного города. Передают, если она правильно поняла, что они

связаны с находившимся на нелегальном положении партийным активистом, которого недавно поместили в самую дальнюю темную камеру.

Она поняла правильно. Друг Германа тоже арестован. Вся цепь, созданная с таким трудом организация, провалилась. Выглядит это довольно скверно. Меня больше не удивляет, что я сижу здесь уже пять недель и ни разу не была допрошена. За это время они, очевидно, допрашивали других и для начала выяснили для себя достаточно много. Но ничего не происходит. Дни тянутся бесконечно долго.

Неожиданно и в большой спешке нас переводят в городскую дирекцию гестапо. Всех.

Почему — никому неизвестно. В старинное здание в центре города. В средневековую темницу с двойными тяжелыми дубовыми дверями и тяжелыми засовами. Стены такие толстые, что маленькое зарешеченное оконце наверху кажется вделанным в нишу. Первое впечатление: настоящая тюрьма. Как темница в сказке. Не хватает лишь железных колец с цепями. Все это видно с первого взгляда. Правда, это немного. Но весьма существенно. И создает определенную атмосферу. Ее чувствуешь сразу. Буквально вдыхаешь ее. Стоишь посередине камеры и осмысливаешь увиденное. С удовлетворением либо подавленно, сообразно мыслям. Итак, ты должна здесь жить, кто знает, как долго.

Потом уже вникаешь в детали, внимательно все рассматриваешь и исследуешь. Как в чужой комнате, которую собираешься снимать. Внезапно делаешь радостное открытие, что табуретку можно передвигать. Правда, стол и здесь наглухо привинчен. Зато параша в углу отгорожена дощатой перегородкой, и зловоние не так донимает, как в «бюксенской помойке». Прямо-таки райская обитель. Дверь вся испещрена надписями. Их можно читать и разгадывать целыми днями. В этом дереве, которому уже бог знает сколько лет, навеки запечатлены нужда и отчаяние, наивность и надежда. Многие надписи сделаны, по-видимому, острым режущим инструментом. Ногтем пальца невозможно сделать такие глубокие насечки на твердой дубовой доске. Помогите мне, святая дева Мария, гласит одна из надписей. И под ней дата — 1789. Тысяча семьсот восемьдесят девятый год! Начало Великой французской революции. В Америке уже декларированы права человека. В Вюртемберге правит деспот. Правит деспот... Будь у меня карандаш, я бы под этой датой поставила еще одну — 1936. И в скобках: почти сто пятьдесят лет после опубликования хартии о правах человека.

Будь у меня карандаш. Как много отдала бы я за карандаш. У

Жанны, моей соседки по камере и здесь, в городской дирекции гестапо, есть хотя бы тюбик зубной пасты. Это почти то же самое. Я завидую, что она обладает таким сокровищем. Этим кусочком свинца можно писать, правда, текст получается бледный, но прочесть можно. С его помощью мы из листка бумаги делаем себе шахматы. Фигуры рисуем на клочках бумаги.

Правда, в эту королевскую игру играем совсем не по-королевски, зато очень упорно. Много часов подряд. Пока нам окончательно не осточертеет. И тогда, случается, мы вдруг откладываем партию, или посередине игры внезапно с возгласом «а ну его к дьяволу», то есть: как жутко все это надоело, отбрасываем все в сторону. С каким удовольствием мы в эту минуту разорвали бы на клочки весь этот хлам или смахнули бы его тряпкой со стола. Однако через полчаса снова сидим и играем, с взвинченными нервами, играем неохотно, с отвращением, как бы подчиняясь безжалостному и неумолимому принуждению, уставившись отсутствующим взглядом, но и как зачарованные на истрепанный клочок бумаги, время от времени бормочем вполголоса какие-то замечания, горькие, язвительные, непонятные и бессмысленные, вроде «ну и свиньи же», или «гопля, мой ход», или «перехожу в наступление», словно все это может помочь нам свободнее вздохнуть. Но это не помогает, только еще больше отравляет нам жизнь.

Свободнее мы вздыхаем только во время пятнадцатиминутной прогулки в тюремном дворе два раза в неделю. Это наши праздники. Мы радуемся им, как дети. Как радуются дети воскресной прогулке. Хотя нет ничего безрадостнее тюремного двора. Сидя в камере, никогда так остро не почувствуешь, что ты в неволе, как ощущаешь это среди серых стен четырехугольника тюремного двора. В камере обнесенное решеткой окно служит тебе утешением. Со двора окна кажутся злыми, подкарауливающими глазами. И только когда они вдруг начинают пламенеть в отблесках вечернего солнца, они — окна. Обычно же они ужасны.

Молча шагаем друг за другом по овальной протоптанной дорожке. Руки должны быть за спиной. Все время по кругу. Это одновременно и смешно, и невыразимо печально. Отвратительно. Чудовищно. Вокруг — штурмовики. Они, как и мы, смотрят в пространство тупым и невыразительным взглядом. Но только до того момента, пока двое заключенных не начинают тихо переговариваться. Тогда штурмовики не вперяют пустой взгляд в пространство. Тогда они начинают так свистеть и орать, что кажется — это пронзительно кричат тюремные стены. Невозможно себе представить, что за этими стенами есть жизнь,

улицы, дома, веселые люди, сады, что в это время года все в цвету. Почти так же, как нельзя себе представить, что эти, молча бредущие и натыкающиеся порой друг на друга, невзрачные фигуры еще совсем недавно любили или были любимыми, были милыми и нежными женщинами или здоровыми веселыми девушками.

В камере тебя утешает сознание, что ты — политическая. Во дворе, в жалком кругу бредущих людей, ты всего лишь заключенная. Здесь нет разницы между воровкой, детоубийцей или еще кем-нибудь вроде этого, и так же напряженно, неуклюже и жалко плетешься за другими, и так же соблюдаешь положенную дистанцию, отделяющую тебя от фигуры впереди. И все же ты счастлива. Ибо над тобой небо. В этом небе плывут облака, чувствуются несущий их легкий ветерок, бесконечные дали, среди которых они странствуют. Ты была уже близка к отчаянию, теперь же взволнованно глядишь вверх, видишь голубую даль, глубоко дышишь, свежий воздух наполняет легкие, бедная душа обретает уверенность в себе. И внезапно понимаешь, что за тюремной желтой, мертвой стеной мир не кончается, а лишь начинается.

Тем временем ищешь знакомые лица. В один прекрасный день в нашем печальном хороводе появляется товарищ Паула Лёффлер из Швеннингена. Я знаю ее по предварительному заключению в тридцать третьем, она перенесла голодную забастовку и выглядит очень плохо. Ей удастся мне шепнуть, что здесь она находится по одному делу со мной. Значит, также по делу друга Германа. Добродушный надзиратель, точнее надзиратель, изволивший пребывать в ту минуту в хорошем настроении, внял ее настоятельной просьбе и перевел к нам. Радость велика, но непродолжительна. Гестапо, конечно, обо всем пронюхало, и ее из нашей камеры быстренько убрали. Тем не менее я узнала кое-что такое, что можно будет использовать во время допроса. По меньшей мере я знаю, что по моему делу сидят и другие. Это не утешение, но в известной степени оправная точка.

Спустя короткое время в кладовой, куда мы каждое утро приносим постельное белье, какой-то уголовник сунул мне записку. Записка от Зеппа. Он сообщает, что сидит как раз под моей камерой. Необходимо использовать этот невероятный случай, ибо такая ситуация наверняка продержится недолго.

Мы перестукиваемся. Это нетрудно, но утомительно. Каждый раз, прежде чем добраться до нужной буквы, надо простучать весь алфавит. Перестукивание по так называемой пятизначной системе, или азбуке Морзе, лучше, но я им не владею. Каждый вечер дежурит старый, видимо, тугой на ухо надзиратель. В этом

наше счастье. Тогда мы и перестукиваемся. Там на воле в этот час, поужинав, приятно проводят время, запасаются билетами в кино или на собраниях кричат «зиг — хайль».

Лишь разбив себе пальцы, я догадываюсь, что перестукиваться можно также рукояткой зубной щетки.

По делу друга нашего Германа, выстукивает Зепп, против меня мало улик. Факт нашего сотрудничества не установлен. В остальном показания товарищей не содержат обличающего меня материала. Поэтому я могу спокойно подтвердить то, что им все равно известно. Так как я надеюсь, что мне, как женщине, удастся лучше защитить себя и в итоге дешево отделаться, я прошу Зеппа предоставить мне руководство ходом судебного разбирательства. Он должен, выстукивая я ему, выдать себя за совращенного мной человека, который только из любви ко мне взял на себя распространение информационных листов и исполнение поручения, связанного с другом Германа.

Нам действительно удастся договориться о главном. Положение несколько проясняется и уже не выглядит таким безнадежным. Неприятно, что мне, как передает Зепп, они хотят навязать громкий судебный процесс. Я действительно проявила одно написанное невидимыми чернилами письмо Бруно Линднера из Швейцарии и отправила в больницу его жене. Это правда. Конечно, было ошибкой послать расшифрованное письмо, которое мог прочесть каждый. Но жена Линднера лежала в больнице и полная тревоги ждала, когда муж даст о себе знать. Вторым обстоятельством, сыгравшим в этом деле роковую роль, явилось то, что я сама не могла ее навестить, так как по подозрению на дифтерит, ее поместили в изолятор. Таким образом, я вынуждена была послать ей письмо в расшифрованном виде. Теперь гестапо подозревает меня в том, что я поддерживала постоянную связь с Бруно Линднером и что переписка наша имела политический характер. Хорошо, что я это знаю.

Как и следовало ожидать, наш разговор подслушали. Перестукиваниям был внезапно положен конец. Но главное мы уже обговорили. Теперь я сравнительно хорошо информирована, и это вновь дает мне определенный импульс. Я больше не чувствую себя беспомощной игрушкой в чужих руках. Я знаю, какая ведется игра и что известно там, «наверху». Таким образом, могу спокойно готовиться к допросу. Я занята. И это хорошо. От бессмысленных раздумий я бы серьезно заболела. Только тот, кто побывал в тюрьме, знает, что это возможно. Кто предается здесь воспоминаниям, тот пропал. Побежден. Меняется весь настрой его души, и порой уже на всю жизнь. Необходимо смотреть вперед, иметь перед собой цель, даже если она бесконечно далека

от рамок бытия. Необходимо мыслить, а не просто предаваться раздумьям. Размышлять, правда, легче. Доступнее. Но я сама все еще размышляю слишком много. Да, все еще слишком много. Я тревожусь о тебе. За время моего пребывания в тюрьме я имела от тебя одну-единственную весточку. Приветы. Ты же обо мне вообще больше ничего не слыхал. Что остается тебе думать? Я ощущаю твое беспокойство. Агент гестапо должен был направиться в Дахау, чтобы допросить тебя по моему делу. Знаю, что гестаповец побывал и у моей матери. Ее здорово напугали, простучал мне Зепп. Ей сказали, сообщил Зепп, что я буду сидеть очень долго, пока не стану совсем старой и седой. И пока не сдамся.

Что же сказали они тебе?

Наконец меня приводят к судебному следователю. В ожидании строгого допроса собираюсь с мыслями. Я хорошо подготовлена и спокойна. Сначала анкетные данные. Еще раз, думаю я. И сколько раз это еще предстоит? Анкета заполняется очень подробно и точно. Администрация, олицетворяющая произвол и насилие, облачается в личину педантичности. Террор действует как бюрократическая машина, вероятно, чтобы придать себе видимость законности. Сейчас начнется, подумала я, когда с анкетой было покончено. Но ничего не происходит. Все завершается лишь формальным арестом.

Основание — «подготовка к государственной измене».

Мне предписано одиночное заключение. И вот я на Веймарштрассе. Вахмистр Науэр отводит меня в камеру. Она мала, четыре шага в длину, два в ширину. Койка прикреплена к стене, маленький стенной шкафчик, в нем кувшин для воды и полотенце. Тут же хлебная пайка. Позаботились обо всем. В углу неизбежная параша. Табуретка и стол деревянные. По сравнению с грязью «бюксенской помойки» и городской дирекции гестапо здесь чисто.

Дверь заперли. Я кладу свой узелок на стол. В нём принадлежности для умывания и смена белья. Мои драгоценности я спрятала на теле. Это подаренная на прощание Жанной половинка тюбика зубной пасты, используемая мной для письма, пустая пудреница, которую я очень люблю за сохранившийся в ней запах хороших духов, несколько фотографий, писем и немного бумаги. Жена полица, добрая душа, личный досмотр производила не очень тщательно, и потому эти вещи остались у меня.

Я одна. Тишина зловеща. Не знаю, угнетает она меня или успокаивает. Это неясное чувство. Не слышно, чтобы кто-то разговаривал, ни шороха, ни звука. В «бюксенской помойке»

всегда было оживленно и много шума, здесь же, как в мертвецкой. Как будто я одна во всем здании. Этот первый вечер на Веймарштрассе я не забуду никогда.

Итак, я в подследственной тюрьме. Отныне засчитывается время, проведенное в заключении. С этого момента на учете каждая минута, она весома, не растрачивается так попусту и бессмысленно, как прежде. Я могу вычесть ее, исключить — не знаю только, из какого количества лет. Во всяком случае, в моих делах намечается какой-то порядок. Время опять стало временем, которое я могу каким-то образом учитывать. Я в приличной подследственной тюрьме, а не в лапах у полиции. Да, полиции. Возможно, ты не знаешь ее так хорошо, как я. У тебя все произошло очень быстро: арест, концлагерь и — кончено. Я же столкнулась с полицией — органом подлинной власти, скрывающейся под безобидным названием, — вплотную, во всех обличьях и масках, в макинтошах и зеленых мундирах, в форме штурмовиков и эсэсовцев, в скромной штатской одежде, с партийным значком и без него, под маской иностранного агента или доброго друга. Прежде полиция представляла в образе постового — добродушного шуцмана со страшными усами, в каске и с саблей на боку. Сейчас она неуловима. Тень, нависшая над страной. Неприкрытый жестокий террор. Невидимый страшный призрак за спиной, под столом, за уютным столиком кафе, стены которого украшены веселыми картинками.

Еще не знаю, каково будет мне здесь. Ведь я в тюрьме. По-прежнему. И все же облегченно вздыхаю. Хотя, серьезно поразмыслив, приходишь к выводу, что тяжелые удары судьбы еще впереди. Предъявленное мне обвинение — подготовка к государственной измене — не шутка. Не случайно поместили меня в одиночку. Тем не менее тот факт, что нахожусь здесь, я ощущаю почти как счастье. Знаю, что мне предстоит длинный, тернистый путь, в конце которого приговор национал-социалистского судилища. Конечно, я должна быть готова понести суровое наказание. И, несмотря на это, испытываю чувство большого облегчения.

И единственно потому, что я больше не под полицейским арестом.

Даже камера кажется мне симпатичной. Конечно, дело здесь не в камере, а во мне. В том, что я испытываю чувство относительного удовлетворения. Хотя возможно, что в какой-то степени это зависит и от камеры. Правда, окно расположено высоко наверху. Чтобы выглянуть наружу, необходимо подставить к окну стол и табуретку. Но сейчас на дворе день, и для этого еще слишком рано. Потом. О бегстве, по-видимому, думать не

приходится. Тем не менее такая мысль напрашивается сама собой. Каждый заключенный думает о бегстве. От этой мысли он не отказывается и тогда, когда убежден, что убежать невозможно. Тогда он об этом мечтает. Это мечты о дерзких побегах, планы бегства, в которых фантастической отваге сопутствует невероятная удача. На составление подобных планов впустую растрачиваются дни и ночи. Даже вполне разумными, реально мыслящими людьми, которые после наступающего затем отрезвления испытывают особые страдания. Из тюрем гестапо побег почти невозможен. Несмотря на это, я мечтаю о нем. Разум понимает всю бессмысленность этих нелепых фантазий, но сердце переигрывает его соблазнительными надеждами. Мало того, что я сама в захватывающей дух спешке ускользаю из тюрьмы, бегу через обширные дворы, карабкаюсь через стены и мчусь по крышам. Мне, по счастливому стечению обстоятельств, удастся освободить еще и тебя, а также наших друзей из Дахау. И как раз в тот момент, когда мы оба проходим мимо выстроившихся рядами наших потрясенных товарищей, в камеру вносят ужин. Мятный чай и два ломтя хлеба, чуть смазанных повидлом.

Это вновь возвращает меня к действительности. Страшно проголодавшись, я набрасываюсь на еду. После прежней, именуемой супом вонючей похлебки, которую нам приносили каждый вечер, эта еда кажется превосходной. Потом, когда в коридоре затихают шаркающие шаги уборщицы, я придвигаю стол к окну, ставлю на него табуретку и взбираюсь на нее.

Уже вечер, но еще светло. Я устанавливаю, что окно моей камеры расположено не по фасаду здания, а выходит во двор. Правда, это не так интересно, так как меньше видишь окружающий мир, но у меня преимущество: могу видеть заключенных во время прогулки. Может быть, среди них обнаружу знакомых. Двор вытянут на всю длину здания, но очень узок. Протоптанная в форме эллипса дорожка показывает путь, который проделывают ежедневно узники на прогулке.

Напротив моего окна стена, по-видимому отгораживающая тюрьму от казарменного двора. Должно быть, там конюшня. Оттуда доносятся стук копыт и лязг цепей, которыми привязывают лошадей. Слышны мужские голоса, очевидно, солдат, окликающих лошадей. Солдаты гремят котелками и насвистывают. Стена от меня так близко, что я могу наблюдать за гусеницей, которая передвигается по теплым кирпичам, втягивая и растягивая туловище. Конечно, я уже не раз это видела, но никогда так сознательно не воспринимала. Я так захвачена мудростью и чудом происходящего на моих глазах, что на мгновение забываю обо всем вокруг. Пока внезапно не

вздрагиваю от легкого шума по соседству. Слышу, как двигают стол и ставят на него табуретку. У соседнего окна кто-то кашлянул один, два, три раза, очень сдержанно и осторожно. Я тоже кашлянула. Так как ничто в ответ не шевельнулось, я тихо окликаю:

— Алло!

— Да? — доносится шепот снаружи.

— Я политическая, — отвечаю приглушенным голосом, — прибыла сегодня вечером. А ты? — Как ни странно, я взволнована.

— Тише, — говорит женский голос из соседней камеры, — не так громко. Со двора за нами следят. Лучше перестукиваться через стену. Только тихо. Нас двое.

— Тоже политические? — спрашиваю.

— Да.

Да, это тоже политические. Труди Гессман из Людвигсбурга и Лизбет Шолль из Штутгарта. Здесь они уже год. Слышу, как они слезают со стола и снова ставят все на место. Я тоже быстро привожу камеру в порядок. Потом мы стучим. Труди Гессман советует мне изучить азбуку Морзе, тогда можно будет лучше и быстрее переговариваться. Завтра у надзирателя я должна попросить аспидную доску. Как подследственная, я имею на это право. Надзиратель не злой человек. Дежурная надзирательница же — сущая ведьма.

Почти час продолжается этот утомительный диалог. Нас прерывает доносящаяся сверху дробь морзянки. Труди Гессман необходимо связаться с одной из камер верхнего этажа. В первый раз я слышу, как в тюрьме заключенные переговариваются с помощью азбуки Морзе. До чего же это здорово! По сравнению с этим какое убожество — перестукивание, использующее алфавитный порядок букв. Я, конечно, ничего не понимаю, но слушаю с восторгом. Так слушают музыку. Господи, думаю я, если бы ты сейчас сидел там, наверху, и мы могли бы так беседовать! Ведь это почти то же, как если бы мы были вместе. Тогда бы я вообще не испытывала больше страха. Мы беседовали бы тогда о Кетле. Строили воздушные замки. Желали друг другу спокойной ночи. Вот я уже снова размечталась.

Смеркается. На конюшне солдат напевает песенку о цветущем кустарнике бузины. Другой вторит ему, насвистывая мелодию. В каждой, даже звучащей фальшиво ноте ощущается тоска по дому. Час, когда по родному дому тоскуют с особой силой. Всплывают воспоминания. У куста бузины, у куста бузины мы сидели вдвоем, наши руки сплелись. К сожалению, это были не мы. Мы до глубокой ночи печатали нелегальные газеты. Порой мы

вполголоса что-то напевали, иногда насвистывали, чтобы бодрствовать, не задремать. Мне хотелось большего проявления сердечности, задушевности. Ты был против. Для тебя все это было сентиментальной безвкусицей. Возможно, так оно и было. Боже мой, какое это было время! Как вы дразнили и высмеивали меня, когда я приходила в неистовство. И тогда начинался спор.

— Вы утверждаете, что мы, женщины, не можем логически мыслить?

— Конечно, вы думаете сердцем, а не разумом.

— А вы? Вот, пожалуйста. Теперь видите, куда завел вас ваш разум.

— И тем не менее мы — мужья!

— Вы — мужья?! Даже по воскресеньям не можете уделить своим женам хоть немного времени.

— Именно потому, что мы преданы идее.

— Ерунда, мужчины думают (когда они думают), что они всегда размышляют о чем-то вечном. Все вы этим страдаете. Того, кто вам возражает, вы, проявляя, разумеется, должную снисходительность, считаете глуповатыми, даже слегка спятившими. Когда вы иной раз оказываетесь правы, вы громко прославляете сами себя. Когда вы неправы, первыми поднимаете крик, так как полагаете, никто ничего не заметил. Когда же вы что-то наконец сделали, мните себя настоящими героями. Просто кошмар.

Так проходили вечера. При этом мы с таким жаром печатали и фальцевали отпечатанные листы, словно от этого зависела наша жизнь. Все напрасно. И тем не менее это были прекрасные времена. Я вызываю образы прошлого, украшаю события отдельными драгоценными подробностями, и они предстают предо мной расцвеченные яркими красками и озаренные всем блеском, какой способны придать воспоминания, чтобы с их помощью оттеснить мрак сегодняшнего дня.

Хорошо, когда ты в камере одна.

На следующий день я прошу надзирателя купить за мои деньги аспидную доску с грифелями. Уставившись на меня, старик озадаченно поднимает всклокоченные брови: откуда, черт возьми, я уже все знаю? Я прикидываюсь удивленной и заявляю, что в качестве подследственной вправе такую доску потребовать. Не выслушав до конца заученное мной объяснение, он ворчит и уходит. Через два дня доска у меня.

Теперь за учебу. Инструкцию — с помощью того же перестукивания — получаю от Труды Гессман. Она столь же проста, как и сам шифр. Вырабатывается невероятно острый слух, позволяющий легко определять интервалы между отдельными

буквами, даже если у отлично владеющего техникой морзянки они очень малы.

Целый день я тренируюсь на доске моего стола. Примерно через неделю я уже могу почти связно перестукиваться с Труды. Конечно, это строжайше запрещено. Но что тут не запрещено! Перестукивание поддерживает бодрость духа, заменяет занятия и книги. В противном случае ты уже через три недели отупеешь. Опасность быть подслушанным невелика. Тюремный персонал морзянкой не владеет. Я всегда удивлялась этому. Надзиратели, преимущественно пожилые, к политическим заключенным испытывают чувство неуверенности. Этот новый вид преступлений никак не укладывается в мир их старых представлений. Они видят, что в большинстве это порядочные и интеллигентные люди, знают, что люди эти не совершили преступления в обычном понимании этого слова. Что-то у них внутри противится слишком суровому и придирчивому отношению к политическим, несмотря на то, что на собственном опыте надзиратели часто убеждаются: те их дурачат. Однако они чиновники прежде всего. В инструкциях, которыми они руководствуются, возможно, указано, что перестукиваться запрещено. Но в них ничего не говорится о том, что они обязаны изучать азбуку Морзе, чтобы иметь возможность систематически подслушивать беседы заключенных. Поэтому они ее не изучают. Во всяком случае, я еще не встречала ни одного тюремного надзирателя, который владел бы азбукой Морзе. Это хорошо.

Спустя короткое время я через семь примерно камер связываюсь с Паулой Лёффлер, сидящей этажом ниже. Кажется невероятным, но это факт. При огромном желании осуществимы труднейшие связи. Правда, прежде необходимо запастись подробнейшей информацией о всех привычках дежурных надсмотрщиков и надзирателей. Особенно опасны уборщицы, всегда готовые за кусок колбасы донести на тебя начальству. Однако самое главное — здесь должны быть люди, которые ценят взаимную товарищескую информацию выше незначительных льгот; они, естественно, лишаются их, когда их уличают в нарушении правил.

Меня они не уличили. Во всяком случае, в перестукивании. Зато надзирательница поймала меня в тот момент, когда я тихо переговаривалась во время прогулки во дворе. Она накрыла меня в ту минуту, когда я просила заключенную, которой раз в неделю разрешали уносить из мужского отделения белье, передать привет Зеппу. С бранью набрасывается она на меня и уводит. Я оказываюсь в темном карцере.

Никогда до этого в темной камере я не была. Вначале не

нахожусь в этом ничего особенного. Просто ночь. Слегка дремлешь, с огорчением думаешь о лишениях, которым меня подвергли. Об аспидной доске, к которой я за это время уже привыкла, о газете, которую позднее могла бы получать, о четверти фунта масла, которое дополнительно могла бы купить, о книгах из библиотеки. Постепенно вечная темнота начинает вызывать отвращение. Закрываешь глаза и пытаешься уснуть. Тщетно. Вновь пристально смотришь в темноту. Время тихо застыло, эта тишина опасна, ощущение полной заброшенности и беспомощности почти невозможно вынести. Потом приходит страх. Затем наступает состояние оцепенения. Подавленности. Лихорадочно проносятся в голове мысли. Появляются бредовые идеи. Представления о всевозможных мерах принуждения и насилия. Разве не рассказывают, что в концлагерях людей убивают подобным и любым другим образом? Не только до смерти забивают, или пристреливают, или загоняют на проволочное заграждение, находящееся под током высокого напряжения, но душат, убивают в звуконепроницаемых темных камерах? Разве можно быть уверенным, что и здесь не вынырнут вдруг из темноты две руки и не схватят тебя за горло? Что не прогремит внезапно выстрел, не начнет под тобой накаляться пол?

Сердце учащенно бьется. В желудке мерзкое ощущение пустоты. Вдруг начинает казаться, что ты в камере не одна, здесь должен быть кто-то еще. Хочешь позвать на помощь. Начинаешь разговаривать сама с собой.

— Чего ты, собственно, хочешь, глупая женщина? — спрашиваешь ты.

Ты бранишься и шумишь. Это помогает.

— Если бы эта вонючая стерва, надзирательница, в ту минуту не подвернулась, — говоришь ты, — ничего бы не произошло. Грязная свинья!

Через некоторое время все повторяется. Затем вновь начинает учащенно биться сердце. Если вдруг случится беда, сердечный приступ или что-нибудь в этом роде, ты здесь без всякой помощи. Крик твой никто не услышит. Ты тут просто сдохнешь. Ты умираешь от страха. Сердце бешено колотится. Не знаешь, как долго длится эта мука. Потом опять дремлешь. Когда просыпаешься, уже ночь. Ночь? Ах да, ты ведь в карцере. И тогда все начинается сначала.

Но однажды вновь становится светло. Я возвращаюсь в мою старую, славную камеру. Кажется, полную света. У меня влажнеют глаза. Не только потому, что слепит свет. Сквозь маленькое окно проникает солнечный луч. Он трогает меня до глубины сердца. Кажется, никогда в жизни я не испытывала

такого чувства благодарности, как в этот момент. Невнятно бормоча, старый надзиратель сообщает, что могу оставить у себя аспидную доску и заказать в библиотеке книги. Я благодарю его. Но имею в виду благословенный луч.

Как я рада и доске, и книгам. Тюремная библиотека не плоха. Со временем до меня доходит, что, пойдя на небольшую хитрость, можно кроме двух дозволенных книг раздобыть и третью. Это делается просто. Выбранный тобой объемистый том, помимо выдаваемых еженедельно двух книг, можно задержать на более продолжительный срок. Этой третьей книгой для меня на протяжении недель служит «Иллюстрированная всемирная история» Корвина. Потом Библия. Потом большой атлас, из которого я выдираю карту земного шара. Я храню ее как драгоценное сокровище. В ней для меня заключены чудесный простор и необъятные дали. Весь мир. Безграничная свобода. Вечерами, когда я уверена, что в мою камеру больше уже не войдут, я с благоговением расстилаю ее, и тогда мы пускаемся в путешествие, ты, я и Кетле. Вокруг всего земного шара. Не только в даль, но и в глубь.

Мы совершаем путешествие к древнейшим очагам культуры нашей планеты. Плыдем на старинной джонке вниз по Янцзы. У тебя косичка, и ты самый добрый человек на свете. Ты такой, конечно, и без косички и вообще везде, не только в Китае. На священных реках Индии мы пилигримы и ведем беседы о душе. Почему, спрашиваю я тебя, если Брахма являет собой совершенство и высшее блаженство, созданный им мир столь несовершенен, осквернен и обременен тяжкими страданиями? Потому, отвечаешь ты, что он населен такими людьми. В Древнем Египте ты устраиваешь шумный скандал фараонам за то, что они заставляют бедных людей работать в нечеловеческих условиях, воздвигая пирамиды каменных плит гигантского размера. Затем мы покидаем Нил и возвращаемся в Германию, где тем временем «величайший немец всех времен» собирается с гениальной простотой решить социальные проблемы, остающиеся нерешенными на протяжении тысячелетий. Используемый метод поразительно прост. Каждого, кто хоть в чем-то не согласен с режимом, сажают в тюрьму. Это уже действительность, отнюдь не мечта. Не беспредельный чудесный мир фантазии, а узкая, убогая камера. Зарешеченное окно, запертая дверь, маленький стол, и на нем потрепанная карта земного шара, которую я украла. И длинная, бессонная ночь.

Сон — это и хорошо, и плохо. Хорошо, так как он позволяет хотя бы ненадолго ускользнуть от суровой действительности. Плохо, так как потом действительность жестоко мстит за это

бегство. Ты вынуждена к ней вернуться, она же, не щадя, отрезвляет всеми присущими ей горестями.

Такова еще одна особенность одиночного заключения. Спасительный покой первых дней со временем оборачивается мучительным одиночеством. Очень скоро и в одиночную камеру возвращаются мрачные изнуряющие будни. Идет время, теряется уверенность в себе, все более бессмысленной становится жизнь. Ты не живешь, а существуешь. Бывают дни, когда это еще более или менее терпимо, и дни, когда, думается, можно сойти с ума. Ночи милосердного сна, и бесконечные ночи тяжких мучений, от которых как бы раскалывается мозг. Можно часами разговаривать с собой, а потом вновь приходят часы, когда только прислушиваешься. Ждешь и прислушиваешься. Тем временем начинаешь различать каждый шаг снаружи, шаркающие шаги уборщицы, твердые, быстрые — надзирательницы, медленные, размеренные шаги надзирателя. Шаги, услышанные в камере поздним вечером или ночью, — это что-то необычное и вселяет тревогу. Прерывается твой неверный сон, и ты испуганно прислушиваешься с сильно бьющимся сердцем. Или же заспанная, шатаясь, подходишь к двери, когда шаги приближаются, и стоишь затаив дыхание... Выдержать, выдержать, ведь бывает, черт возьми, похуже...

Лило Германн возвращается с допроса. Уже поздно. Надзиратель гремит связкой ключей. Камеру Лило, расположенную против моей, отпирают и вновь запирают. Лило Германн обвиняется в измене родине. Ее дела плохи. Политические опасаются за ее жизнь. Я жду, когда раздастся ее обычный стук. Но тщетно, ни звука. На следующий день на прогулке она отсутствует. Я в тревоге. Знаю ее мужество и стойкость. Знаю, что ее уже год мучают и пытаются вырвать признание.

Она была студенткой высшего технического училища в Штутгарте, потом работала в промышленности. Наблюдая рост военной промышленности, она поняла, что Гитлер готовится развязать войну. Она считала своим долгом активно этому воспрепятствовать. У нее нашлись единомышленники. Она оказалась отважнее других. Она мать. И как мать, она хотела сделать все, чтобы уберечь всех матерей от этой войны. Гестапо устроило допрос так, что в соседней комнате она слышала голос своего ребенка, который звал ее к себе. Ей обещали помилование, если она выдаст лиц, участвовавших вместе с ней в «заговоре». А в соседней комнате ее ребенок непрерывно звал к себе мать! Тем не менее она молчала.

Что же теперь? Я читаю этот вопрос на бледных лицах

заключенных, когда во время прогулки во дворе мы встречаемся на поворотах. Ответом является неуловимое покачивание головой, едва заметное пожимание плечами, неподвижный озадаченный взгляд. Никто ничего не знает.

Вечером, проходя по коридору, Лило Германн шепчет мне через дверную щель, что ее приговорили к смерти.

Я лежу на полу, прижав ухо к двери, как сраженная наповал. Лишь легкий стон вырывается из моих уст, ни слова утешения, ничего. Я содрогаюсь от ужаса. Съеживаюсь на койке, как зябнувший пес. Итак, приговорена к смерти. Мать. Молодая женщина. Двадцатилетняя молодая мать. Ибо она не хотела войны, которую желает Гитлер. К смерти на эшафоте. Именем народа. Именем всех матерей этого народа, всех женщин, всех любящих людей. К смерти.

У казармы напротив часовой на конюшне хриплым пьяным голосом, не переставая, орет: «Ты мне при прощанье, друг мой, пожелай счастья». Это сводит меня с ума. Я затыкаю уши. Не помогает. Мелодия уже не выходит из головы. Это ужасно. С тех пор я боюсь этой песенки.

За ночь страшную весть узнала вся тюрьма. Одна камера за другой. В соседней камере заключенная бьется в истерику. Ее пронзительные несмолкаемые крики потрясают все здание. Тревожно в тюремных коридорах. Когда надзиратель отпирает камеру Лило, из многих камер доносится громкий плач. Плачу и я.

Следующий день воскресенье. Помощница надзирательницы случайно оставляет незапертой дверь моей камеры. Я тотчас же замечаю это и подозреваю ловушку. Но когда дежурная запирает дверь, ведущую в коридор, я понимаю, что произошло это действительно по недосмотру. Теперь весь коридор «чист». Я стучусь в дверь камеры Лило. Что должна я ей сказать, что могу я ей сказать? В горле комок. В зажатой ладони восемь снотворных таблеток, единственное, чем я располагаю. За долгие месяцы заключения я под всевозможными предлогами выклянчивала их, копила для тяжелых ночей. Теперь по одной просовываю их под дверь ее камеры.

— Это снотворное, — говорю я потрясенная.

— Большое спасибо, — говорит Лило спокойным голосом.

Могу я еще что-нибудь для нее сделать, спрашиваю я. Нет, говорит она, больше ничего для нее сделать нельзя. Все равно в ближайшие дни ее отсюда отправят, вероятно в Берлин... в последний путь, да. И она желает всем самого лучшего!

Я должна вернуться в свою камеру, но как быть, чем заняться. Заняться ничем не могу, даже ходить взад и вперед не могу, камера для этого слишком мала. Могу только неподвижно сидеть и размышлять. Все происходящее не укладывается в голове. Снаружи звонят колокола. Да, ведь сегодня воскресенье. А в камере по ту сторону коридора сидит приговоренная к смерти молодая мать. Со дня ареста она не видела своего ребенка, только слышала его крики. Больше она никогда его не увидит. Теперь она это знает. Колокольный звон наполняет скорбью мое сердце, чувствую, что заболеваю. Сейчас люди пойдут в церковь. Распахнуты древние порталы. Мрачные нефы наполняются звуками органных хоралов. Со всех церковных кафедр провозглашается слово божье, слово любви и справедливости. Сейчас отнюдь не просто объявлять себя их сторонником. Для этого нужно иметь большое мужество. Несмотря на это, церкви полны народа.

Тюрьмы тоже полны. Почему же одни люди не встанут на защиту других? Рядом, по ту сторону коридора, сидит молодая женщина, которая за свою любовь к людям заплатит жизнью. Но ни один человек не объявит себя ее сторонником. Ни один из тех многих, которые теперь в церкви преклоняют колени, ни один представитель христианского мира, в том числе и сам папа римский. Покинутая богом и людьми, сидит она в своей камере и должна одна, совсем одна, переживать свой смертный приговор, не услышав ни слова утешения или благодарности за принесенную ею жертву.

Ее судьи, надо полагать, в церковь не пойдут. Они чиновники. Их дело повышать свою квалификацию. Их «бог», сидящий в рейхсканцелярии, не терпит подле себя никаких чужих богов. Ни бога любви, ни богини справедливости. Потому эти судьи не поют благочестивых хоралов, зато ежегодно в мае в большом зале заседаний Дворца правосудия, выбросив вверх руку, орут гимн Хорста Весселя. Потому они говорят теперь не о праве, а о «народном» праве, согласно которому справедливо то, что «приносит пользу народу». Но приносит ли война пользу народу?

Лило Германн отвечала на этот вопрос отрицательно и соответственно этому поступала.

Господа судьи за эту «измену родине» ухватились.

Ухватились потому, что она давала им возможность повысить свою квалификацию. Им нужно было продемонстрировать свою политическую благонадежность. Для этого им нужен был смертный приговор. Теперь они его имели. Помилования наверняка не будет. Порой его здесь применяют — чтобы прикинуться человечными. Правда, преимущественно по уголовным делам. По политическим — редко. По делам о тяжких, с их точки зрения, политических преступлениях — никогда.

Таким образом, с Лило все кончено. А с нами, что будет с нами? Со мной? Когда состоится судебный процесс надо мной? Таков человек. По ту сторону коридора, на расстоянии менее пяти метров, находится Лило, одна со своим огромным горем, а я думаю о себе, о процессе надо мной, о приговоре, о перспективах моей жизни. О моем ребенке.

Колокольный звон прекратился. Не замечаю, как проходит воскресенье. Что будет со мной? Не знаю. Знаю только, что не сдамся. Никогда. Хочу быть такой же стойкой и выдержанной, как Лило. Не молить о пощаде. Не хныкать. Никогда. Я чувствую в себе силы. Действительно ли это силы? Не кичливость ли? Или это результат того, что я знаю — предъявленное мне обвинение не столь тяжкое, как у Лило? Подготовка к государственной измене не то, что измена родине. Я могу надеяться, что дешево отделаюсь. Могу надеяться, что в один прекрасный день вновь вернусь к жизни. Когда? И к какой жизни? Все равно. Я останусь жить. Но стоит ли так уж об этом мечтать? Как часто проклинала я эту омерзительную жизнь. Теперь же она вновь показалась мне желанной, может быть, потому, что рядом подкарауливает смерть. Таков человек. Таково воскресенье. Тоскливы ночи. Тоскливы дни.

Что будет с Лило? Нет никакой надежды, за которую могла бы зацепиться ее молодая жизнь. Никакой. Теперь уж никакой. Но из ее камеры не доносится жалоб. Ни стука. Через некоторое время ее уведут. Слышу, как ее забирают. Ее доставляют в Берлин. Там она почти год ожидает казни. Подать ходатайство о помиловании она отказывается. Друзьям передает свое завещание, свою последнюю волю. Она желает, чтобы ее дитя, ее сыночек никогда не стал фашистом. Она первая женщина, которую Гитлер отдает в руки палача, за ней последуют многие другие. Она умирает мужественно, с поразительным самообладанием. Все это станет мне известно позднее. Теперь я только слышу ее шаги снаружи по каменным плитам да лязг решетки, которой запирают коридор. Лило Германн увезли.

Я остаюсь. Сколько это может еще продлиться? Проходит месяц за месяцем. Проходят двенадцать, тринадцать,

четырнадцать месяцев. Без суда. Без допроса. Незнакомец из той поры, друг Германа Нудинга, должно быть, уже умер, так передали мне по азбуке Морзе. Другие товарищи из наших краев «увезены». Остаемся только мы вдвоем, Зепп Кнедлер и я.

Четырнадцать месяцев — срок большой. Четырнадцать месяцев одиночки — это еще больше, это целая вечность. Я вешу всего девяносто фунтов. Дополнительного питания уже давно не могу себе позволить. Родители не знают, что у меня настолько скудная еда. Не хочу им об этом писать, они и так очень трогательно заботятся о Кетле. Известие о смерти брата убивает меня окончательно.

Он скончался скоропостижно, сообщает мне мать. Не могу этого постичь. Это меня потрясает. Мы были очень привязаны друг к другу. Он всегда помогал мне, чем только мог. Его внезапная смерть — для меня загадка. Когда меня уводили, он никаким недугом, никакой тяжелой болезнью не страдал. У меня не было предчувствия его смерти. А ведь он, будучи в тяжелом состоянии, должен был думать обо мне. Когда люди так близки, как были близки мы, то один должен чувствовать, что другому очень тяжело. Неужели собственная беда настолько притупила мои чувства и сделала равнодушной и глухой к чужому горю, что я не услышала призыва умирающего брата о помощи? Или вообще сильных чувств не бывает? Только говорят об этом? Только пишут в книгах? А способность предчувствовать — лишь игра воображения, чистая фантазия? Или я слишком мало о нем думала? Много размышляю об этом и внезапно чувствую себя страшно одинокой и окруженной необъяснимыми и подстерегающими меня опасностями.

Меня пугают странные призраки. Иногда мне кажется, будто я стою рядом с собой, разглядываю себя, и на сердце у меня безумно тоскливо. Смотрю на себя как на совершенно чужого мне человека, вижу удрученную горем женщину с исхудалым желтым лицом и неряшливой прической. И чудится мне, будто я совершенно одна на свете.

Наверное, это от страха. Еще и от страха потерять тебя, Кетле, родителей, друзей, всех и все. Однажды, стремясь открыть окно и позвать на помощь, я подтаскиваю стол к стене, поднимаю и ставлю на него табуретку и пытаюсь вскарабкаться на нее. Все это я проделываю в дикой спешке, падаю, ударяюсь головой о железный край койки и теряю сознание.

С той поры приступы обморочного состояния повторяются почти ежедневно. Соппротивляюсь им всеми силами. Зорко слежу за собой и осыпаю себя самыми горькими упреками. Но над трепещущим сердцем не имею никакой власти. Могу сто раз

говорить себе, что я малодушна и труслива, а чувство невыразимого страха меня не покидает. Делаю приседания, но нарушение координации движений не проходит. Что только я ни делаю — глубоко дышу или пытаюсь помечтать, — отлив крови в мозгу наступает неумолимо. Предчувствуя его появление, ложусь на пол, так как койка уже поднята наверх, и даю пройти всем этапам этого мучительного состояния. Порой ночью чувство страха и тревоги столь сильно, что я не могу подавить стон. Иногда обеспокоенная Труды Гессман стучит мне, желая узнать, что случилось, но я настолько слаба, что в большинстве случаев не в состоянии отстучать ей ответ.

Теперь я испытываю страх от самой камеры. Она уже больше не та спасительная, спокойная и чистая одиночная камера, какой казалась мне когда-то, теперь она — гроб. И не только она. Все, вместе взятое, — и дьявольский звонок, который ежедневно в шесть утра обрывает мой сон, и коричневая бурда, и черствый кусок хлеба, и поставленные вертикально матрацы, пахнущие разлагающейся травой, и длящийся бесконечно день... Летом в девять часов уже тепло, но не солнечно тепло, а туманно и гнетуще. Из казарменного двора ветер приносит в окно вонь от лошадиного навоза, издает зловоние хлор в параше, воняет еда. Суп, в котором плавает всякая дрянь, я черпаю ложкой, не заглядывая в миску, меня сильно тошнит, я должна торопиться и думать о чем-то другом, мой желудок восстает, мое трепещущее сердце тоже.

Потом я опять жду. В четыре часа пополудни в камеру проникает узкая полоска солнца. Этого я жду. В тот момент это единственное, чего я жду. В течение десяти минут несколько солнечных лучиков путешествуют по стене. Я следую за ними, сантиметр за сантиметром, я подставляю им мое лицо, как одержимая болезненной страстью, с благодарностью ощущаю их тепло и со слезами на глазах слежу за их исчезновением. Чего я только не отдала бы, чтобы еще разок посидеть на солнышке, на уединенной лужайке в лесу или в расположенном в саду кафе за пестро и нарядно накрытым столиком!

Было это когда-нибудь в действительности — обилие солнца, порой такое изобилие солнца, что необходимо было убегать в тень? На набережной Монтевидео оно было столь немилосердным, так раскаляло сталь и бетон и так опалило меня, что я не могла его вынести. Трудно представить, что когда-либо я сожалела о слишком ярком солнце. Причем было это вовсе не так давно. Семь лет назад. Целых семь лет.

Мы находились тогда в океане, были натянуты тенты, а папубе открыли плавательный бассейн. Так было жарко.

Тропическая жара. И только солнце, ничего, кроме солнца. Я сильно загорела, стала совсем смуглой. Теперь я серая или зеленая, а в моей камере никогда не бывает совсем светло. Тогда же все было полно света и блеска.

Стоя на палубе у поручней и пристально всматриваясь в линию горизонта, я ощущала себя как бы в стеклянном шаре, ибо краски моря и неба сливались в один тон, один цвет. Не было видно, где кончается море и где начинается небо. Это грандиозно. Я никогда не разрешала себе думать об этом, о моей поездке в Южную Америку, ибо она является одной из наших упущенных возможностей. Если бы тогда ты тоже туда поехал, сегодня все было бы по-иному. Но нам, очевидно, не дано вместе переживать что-либо прекрасное. Как видишь, трудную и горькую ношу нам тоже не суждено нести вместе.

Размышляю о нашей молодой жизни. Мы были женаты всего один год, Кетле была совсем маленькой. Тогда мы жили бедно, но по сравнению с нашим сегодняшним положением, жили превосходно. Тебе никогда не удавалось удержаться на заводе больше четырех недель. Они предпочитали незаконно тебя уволить, заплатив определенный штраф, нежели терпеть тебя в качестве представителя совета рабочих и служащих предприятия.

Я должна была подрабатывать. Пошла на мыловаренный завод. За несколько марок в неделю набивала пакеты едким мыльным порошком. Ежедневно в полдень и вечером как сумасшедшая мчалась на велосипеде домой, так как болела грудь от переполнявшего ее молока. Кетле всегда была уже голодна и встречала меня ревом. Конечно, во всем этом было мало хорошего. Страна переживала период экономического кризиса и массовой безработицы. Но, по крайней мере, мы были вместе, хотя так продолжалось недолго. Партия была для тебя всего важнее, всегда происходило что-то очень серьезное: собрания, выборы. Мы только начинали по-настоящему свыкаться с положением людей семейных, оба были очень молоды и друг к другу еще не притерлись. Наша семейная жизнь, как и у многих других, вначале представляла собой цепь маленьких недоразумений и неурядиц. Но ты был славным и добрым человеком и моим мужем, а воспоминания окрасили эти годы в радужный цвет. В жизни мы как-нибудь пробili бы себе дорогу.

Как раз в это время дядя Фукс прислал нам билет на пароход и советовал приехать в Буэнос-Айрес. Мы раздумывали. В конце концов решили, что вначале я поеду одна. Если все сложится хорошо, ты и Кетле тут же приедете ко мне. Остаться надолго без тебя и Кетле я ни под каким видом не хотела. Без вас я бы безумно тосковала. Мы отправили Кетле к матери, съехали с

квартиры, сняли для тебя недорогую комнату, пообещали оставаться верными друг другу, и я уехала. Прощание было каким-то торопливым и малосердечным, как это и бывает в большинстве подобных случаев. Вообще наши расставания всегда были внезапными и поспешными, не озарены светом любви. Да и вся наша семейная жизнь состоит до сих пор из одних разлук.

Я отправилась в четырехнедельное путешествие, имея в кармане пятьдесят марок и билет на пароход. Несмотря на это, бодрой и полной жадного любопытства прибыла я в Гамбург, первый город мирового значения, какой мне довелось увидеть. Чтобы попасть на портовую набережную, надо было выполнить ряд формальностей. Несколько раз проверяли паспорт и багаж, а в заключение пришлось подвергнуться и личному досмотру. Последнее меня особенно возмутило. Потом нас к этому приучили. В настоящее время подобные формальности составляют часть моей жизни.

На пароходе у меня, конечно, не было отдельной каюты. Зато теперь у меня абсолютно изолированная «каюта», в которой я совершаю длинное путешествие в неизвестность. Правда, тогда я тоже отправлялась в неизвестное, но я была свободным человеком. У меня было дешевое место на средней палубе в носовой части судна, где стояли штабеля бочек и ящиков и где всегда отвратительно пахло. Трюм парохода был битком набит эмигрантами, людьми с разбитыми судьбами из перенаселенных крупных городов и крестьянами из балканских государств. Я видела их опустошенные лица, потухшие взоры. Мне довелось тогда видеть много расставаний, и ни одно из них не было более сердечным, чем наше. Вообще я не наблюдала проявлений сердечности. Люди смотрели друг на друга без всякого выражения и пытались улыбаться. Но им это не удавалось.

Со мной в каюте были еще две девушки. Одна направлялась к жениху в Монтевидео, другая — в Буэнос-Айрес. Обе типичные провинциалки, безвкусно одетые. Но рядом со мной я в своем синем костюмчике выглядела деревенской простушкой. Во время обеда из трех блюд и у нас на средней палубе играл оркестр. За столом царила чинная вежливость, диктуемая не сердцем, а смехотворными требованиями этикета. В Лиссабоне и Испании на пароход сели сезонные рабочие, едущие на уборку урожая, крикливые женщины с белыми узлами, в которых находилось неизвестно что — то ли пожитки, то ли грудные дети. Наверно, и то и другое. Здесь же могла я наблюдать печальное и позорное зрелище: за борт кидали монетки, чтобы за ними ныряли малыши. Немецкие коммерсанты с удовольствием смотрели, как эти дети бросались в водную пучину за жалкими брошенными

туда грошами.

Мы плыли по океану. Мой синий костюмчик перекочевал в чемодан, вместо него я вынула шелковое платице, любовно перешитое для меня мамой из ее занавески. С разрешения главного механика я осмотрела судно, по отвесным стальным лестницам опускалась в его глубины, спотыкалась на узких, крутых и гладких как зеркало переходах, стояла у раскаленных топок возле покрытых копотью кочегаров, через автоматически открывающиеся двери попадала в холодные как лед камеры, по тесным, похожим на щель, коридорам вновь карабкалась наверх, приведенная в полное замешательство гудением и содроганием корпуса корабля, слабым мерцанием электрических лампочек, охваченных засаленной предохранительной стальной сеткой, мокрая от пота и совершенно обессиленная. Очутившись через два часа вновь на палубе, я облегченно вздохнула. На верхней палубе, где оркестр, составленный из более изысканных музыкантов, улаждал слух более изысканной публики, поглощавшей более изысканные блюда, мне, конечно, делать было нечего.

В Рио-де-Жанейро я впервые совсем близко увидела пальмы. Везде виднелись их ветви, устремленные в неправдоподобно голубое небо. Среди сочной тропической зелени садов ослепительно сверкали белые домики. В диком, буйно разросшемся кустарнике порхали крохотные птички яркой окраски. Над зарослями лиан и огромным количеством редкостных орхидей стоял тяжелый, одурманивающий аромат. Но самым прекрасным здесь были пальмы. Можно было сфотографироваться перед ними, однако немецкие горничные предпочитали сниматься в гоночном автомобиле или у макета самолета. Преисполненные важности, немецкие коммерсанты поглощали пиво в пивном баре.

В Монтевидео я спасалась от жары, которой пылала раскаленная земля, на набережной в тени складских помещений, где торговцы разложили свой товар. Я с удовольствием купила бы кожаный пояс, как утверждали, индейской работы, или яркий галстук совершенно невероятной расцветки, или восхитительные туфельки на изящных каблучках, издающих при ходьбе очаровательный стук, но из имевшихся у меня пятидесяти марок я уже слишком много потратила на фрукты и сельтерскую воду. Конечно, и здесь рядом с ослепительной роскошью видишь жалкую бедность и беспросветную нужду.

В Буэнос-Айресе меня в порту встречал дядя Фукс. Живет он за городом, в Сааведра. Мне понравились его домик и чудесно разросшийся сад. Сразу чувствуется: любой активной

деятельности, спешке и торопливости здесь предпочитают мечтательную созерцательность и самодовольный покой, вместо стремительного темпа — мирное течение времени. Нет и речи об ожесточенной борьбе за существование. Тем не менее я тосковала по дому. Не по Германии, по вас. Мне хотелось немедленно начать работать, чтобы как можно скорее заработать деньги, нужные для вашего переезда сюда. Устроиться на работу было несложно. Я поступила няней на богатую гасиенду в Розарио. В мои обязанности входили надзор за слугами и уход за годовалым ребенком. Ты знаешь, насколько мне не по душе все связанное с надзором за кем-либо. Мало того, из обусловленных восьмидесяти песо у меня хотели выторговать какую-то сумму. Когда же, кроме того, однажды ночью в мою комнату пробрался хозяин фермы, я упаковала чемодан и покинула этот дом. Хотела вернуться в Буэнос-Айрес, но была забастовка, и поезда не ходили. Грузчики потребовали установки аппаратов для фильтрации питьевой воды, так как пить нефilterованную воду было очень опасно. Предприниматели, естественно, это требование отклонили. Как всегда и везде. Поэтому я вынуждена была остановиться в Розарио в гостинице, и за четыре дня я таким образом потратила деньги, которые заработала за шесть недель.

Не рассказывала ли я тебе уже раньше об этом? Думаю, что нет. Вообще я очень мало рассказывала тебе о моей продолжавшейся два с половиной года жизни в Южной Америке. Вероятно, потому, что это всегда звучало бы как укор. Сейчас мы могли бы находиться там, если бы ты тогда этого хотел. Но теперь задумываться над этим нет никакого смысла. Воспоминания ничего не дают. Они делают действительность еще печальнее. Теперь все остается таким, каким оно есть. И это ужасно. У меня нет больше сил сопротивляться. Лучше всего, пожалуй, спать. Нет, и это не поможет. Ведь обязательно придется вновь проснуться. Каждое утро, пробуждаясь, ты заново возвращаешься к безотрадной действительности. Несколько часов забвения приходится оплачивать дорогой ценой. Поднимающийся чуть свет дьявольский трезвон действует как удар кинжала в сердце. Тебя еще не совсем покинул сон, а ты уже подсознательно ощущаешь весь ужас своего положения, понимаешь, где ты находишься. В тюрьме. В одиночке. словно тебя всю, с ног до кончиков волос, швырнули в преисподнюю. И так каждое утро. То же и с воспоминаниями. Из них ты все равно каждый раз возвращаешься сюда же.

Женщины посильнее и покрепче меня оказываются сломленными этой пыткой. Я слышу их крики, как безумные,

стучат они кулаками в стены и двери. Когда и я стану такой же? Разве мое состояние не предвещает ясно того же? Почему я еще не повесилась? Потому что надеюсь. На что я, собственно, надеюсь? На слабое дыхание жизни, самую ее малость, пусть даже самую жалкую жизнь. Раньше жизнь шахтера, целыми днями работающего без солнечного света, в угольной грязи, за нищенскую оплату, казалась мне воплощением самого ужасного рабства. Теперь она представляется мне недостижимым идеалом.

И мне вовсе не следует вспоминать, что когда-то я была няней. Говорю об этом так, как в обычных условиях вели бы речь о королеве. В самом деле, подумать только. Единственная прислуга в богатом доме в Буэнос-Айресе. Приличная зарплата и отличный стол. Три-четыре свободных вечера в неделю. Абсолютно свободный, работающий, хорошо зарабатывающий и нормально живущий человек. Иногда я могла уходить сразу же после обеда, если справилась со своими обязанностями. Сейчас я даже представить себе это не могу.

В первые же недели пребывания в Буэнос-Айресе я тебе написала. Ты должен приехать. После одного-двух лет прилежного труда, писала я, мы сможем на собственной машине путешествовать по всей Америке и набираться впечатлений. Я была в совершенном восторге. Ты — в меньшей степени. Мое предложение ты считал нереальным. Однако главной причиной твоего отказа приехать, писал ты, является то, что ты не можешь оставить свою партийную работу. У нас дела идут неплохо, писал ты, и я не хочу бросить на произвол судьбы то, чего мы с таким трудом добились.

Сперва твой отказ меня ошеломил. Я была глубоко обижена, а, как мать и друг твой, чувствовала себя преданной, так как ты обещал мне привезти Кетле. С этого момента тоска по дому, естественно, стала намного сильнее. В принципе мое путешествие в Южную Америку утратило всякий смысл. Зачем мне здесь оставаться? Я была страшно удручена. Чтобы немедленно вернуться, у меня не было денег. Когда от тебя начали поступать все более прохладные письма, я опасалась тебя потерять. О моей любви я и вовсе не осмеливалась более писать, я боялась твоего ответа. Мне было очень грустно одной, без тебя наслаждаться красотами этого чудесного уголка земли. До глубины души огорчало меня, что ты не можешь разделить со мной радость созерцания такой красоты. Я не хотела ни в чем иметь какое-либо преимущество перед тобой, никаких радостей, переживаемых вдали от тебя, я не хотела быть в чем-либо богаче тебя, даже в том, что касается новых интересных впечатлений. Я хотела, чтобы ты был со мной. И за границей. Словно я

предчувствовала, что нам предстоит. Мы пошли нашим собственным, неотвратимым, роковым для нас путем. Ты — в Дахау. Я — через Буэнос-Айрес в одиночную камеру. Ты по упорству характера. Я из любви. Ты как политический деятель. Я как женщина, твоя жена. Теперь я вновь одна. Как тогда.

Лило увели. Труды Гессман и Лизбет Шолль тем временем начали отбывать наказание в какой-то тюрьме. В их камеру поместили двух уголовных преступниц. Слышу, как они поют и бесчинствуют. В камеру наискосок от меня недавно поместили старушку, ей не менее семидесяти.

— Вы-то как сюда попали, — спрашивает ее однажды надзирательница, — в таком возрасте?

— Ах ты, господи, — отвечает старушка, — небось, вы знаете, как это получается...

Но надзирательница не знает.

— Как же все-таки? — спрашивает она сердито.

Старушка рассказывает. В один прекрасный день, рассказывает она, в гестапо забрали ее дочь.

— Как это забрали? — строго спрашивает надзирательница, словно учиняя допрос.

Старушка изъясняется не очень вразумительно, но все же выясняется, что дочь арестована за антифашистские «махинации». А ее, мать, подозревают в пособничестве. Она отвергла обвинение на том основании, что политикой не занимается.

— Ну а на самом деле? — продолжает сурово допрашивать надзирательница.

Господам, что пришли за ней, уверенно продолжает старушка, она заявила, что политика начинается с кражи лошадей.

— Ого, — говорит надзирательница, — ну и влипли же вы!

И еще сказала она господам, бойко продолжает старушка, что все подонки, которые раньше в деревне наводили на людей страх, теперь оказались наверху.

— Где наверху? — хочет знать надзирательница.

— У нацистов, — говорит старушка. Так она и сказала господам. И, хихикая, она повторяет: — У нацистов! — За это ее и посадили.

— Вот видите, — предостерегающе говорит надзирательница и гремит связкой ключей, — вот вы за это и получили!

— Но это еще не все. Через несколько месяцев старушка умирает в пути, во время перевода ее в другую тюрьму.

Наконец мне дают швейную машину. Я получаю ее после нескольких моих просьб начальнику тюрьмы о предоставлении работы.

Ее доставляют мне в камеру. Она уже старая, но для меня самая красивая швейная машина на свете. Любуюсь ею как чудом, обнимаю обеими руками и бережно ставлю на место. Камера мгновенно преображается. Преображаюсь и я, исчезает состояние мучительной слабости, настигавшее меня в определенные часы, новая надежда наполняет мое измученное сердце. Отныне каждую неделю мне приносят для починки большую корзину белья. Иногда я буду работать с помощницей, утром ее будут приводить, а вечером уводить.

Однажды в мою проклятую камеру врывается жизнь, которую я уже или еще не знаю, бойкая, смеющаяся, с кокетливыми движениями и пышными формами, румяными щечками и пухлыми губами.

— Я Фрици, — весело говорит красивая блондинка.

Я озадачена, мне требуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Очень уж ошеломила меня непривычная, веселая и радостная непосредственность.

— Ишь как уставилась, — смеется Фрици и берется за свою прическу, — что, неплохо?

Теперь смеюсь и я.

— То-то же, — говорит довольная Фрици, — я уже думала, ты совсем не умеешь смеяться.

Она испытующе смотрит на меня, неожиданно берет за плечи, поворачивает лицом к свету и говорит:

— Думаю, милая, тебе надо немного отвлечься. Не беспокойся, для этого я как раз самая подходящая.

Фрици самая подходящая. Я снова живу. У нее я учусь снова смеяться. Человек. Откровенный до бесстыдства, но в своем бесстыдстве отнюдь не подлый и низкий. Весь день она непрерывно разговаривает. Белье, которое мы должны чинить, для нее дело второстепенное. Раньше она была прислугой, но никогда добросовестно не работала. Это видно. Она и не собирается работать. Она хочет жить. Жить своей жизнью, жизнью веселой и без проблем.

Фрици хочет знать, почему я здесь. Она не лукавит, спрашивает без задней мысли, я это вижу, она просто любопытна. Я рассказываю ей о нашей борьбе. Некоторое время она стоит, безмолвно на меня уставившись, потом звонко смеется. Этого она понять не может.

— Я по крайней мере знаю, почему я здесь, ты — нет. Не так ли?

— За подготовку к измене родине, хотя это всего лишь предлог.

— Что такое измена родине? — спрашивает она. — Я кое-что

стибрила, вот почему оказалась здесь.

У нее свои представления о социальной справедливости.

— Ни одна свинья ничего тебе не даст, если ты сама себе не поможешь, — говорит она убежденно.

По самой сути своей она совершенно мне чужда, мы абсолютно разные люди, но она мне помогает, развлекает и поднимает настроение. У одного из своих пожилых любовников, когда тот был пьян, она выкрала из бумажника деньги. Поэтому она недовольно ворчит.

— Четыре месяца тюрьмы, за это он заплатит, эта скряга, этот подлец, когда выйду, я за него возьмусь, я с ним разделаюсь, моя дорогая, я его так отдубашу, все зубы повыбью, не сойти мне с этого места!

Не знаю, действительно ли она обладает такой властью над мужчинами. Возможно, немного и прихвастнула. Во всяком случае, рассказывает она довольно забавно.

— Не поверишь, — говорит она, — до чего глупы мужчины. Увидят женскую грудь и сразу теряют голову. — Она открыто признается в том, что никто ее не соблазнял. Она сама решила из своих прелестей извлекать выгоду. — И немалую, — говорит она.

Иногда наша надзирательница останавливается у глазка и подслушивает. Она отъявленный шпик. Фрици страстно ее ненавидит и откровенно это показывает. Всегда, когда эта отвратительная женщина подслушивает, Фрици с особым удовольствием рассказывает самые хитроумные истории. В этих случаях мы делаем вид, будто и не подозреваем, что нас подслушивают. Я стучу на швейной машине, Фрици с хорошо наигранным рвением сортирует белье и говорит так громко, что стоящий за дверью наверняка ее слышит.

— Знаешь, наша надзирательница отвратительная баба, и все же, уверена, бедняжку стоит пожалеть. Подумай только, к ней в постель никогда не заберется ни один мужик.

Так и помрет старой девой! Разве не ужасно?!

Тень у глазка исчезает. Фрици хохочет. Грустную ситуацию она превращает в развлекательный спектакль.

Иногда мы философствуем. Свое мировоззрение Фрици формулирует коротко и исчерпывающе.

— Я хочу жить! — говорит она. — Радуйтесь жизни, — весело напевает Фрици, — пока горит огонек.

Впрочем, разве это не девиз доктора Лея? Не девиз так называемого национал-социалистского содружества «Сила через радость»? Не девиз, который вдалбливается миллионам рабочих, приветствующих Гитлера возгласами ликования на празднично украшенных многоцветными флагами площадях?

«Розу сорви, пока не увяла она», поет мелодичным голосом Фрици. Она ведет себя так, словно находится не в камере, а у себя дома в уютной комнатке. Ее не волнует ни решетка на окне, ни запертая дверь. Не угнетает узкая голая камера. Но ведь мы с тобой пленники, ты и я. Пленники не только по вине гестапо, но по доброй воле. Хорошо, мы избрали этот путь. Путь, проходящий через тюремные камеры и бараки концлагеря.

— В сущности, — говорю я, — мне жаль тебя, Фрици. Ты могла бы быть отличной женщиной.

— Могла бы быть? — говорит она и смеется. — Я же такая и есть! Не веришь? Спроси у мужчин!

Такова Фрици.

Однажды вместо нее входит бесцветная маленькая женщина. Она даже не вошла, а как-то незаметно прошмыгнула. В камере она выглядит еще меньше, чем на самом деле. Она робко рассказывает, что ее вовлекли в воровскую компанию. Корчит благочестивую мину, но глазки юрко бегают по сторонам. Я разочарована, огорчена и отмалчиваюсь. Она мне совсем не нравится. Уже одно то, как она сидит и сладким голоском пространно говорит о разных вещах, внушает подозрение. Она не высказывает своего мнения, лишь затрагивает какую-нибудь тему и ждет, что скажу я. Мои ответы односложны и осторожны. Я убеждена, что сделаю я хоть одно замечание на политическую тему, она поймает меня на слове и тут же донесет. К счастью, она остается у меня всего несколько дней. Я рада-радехонька, когда ей на смену приходит Клара.

Клара очень милая женщина. Я сразу почувствовала к ней симпатию. В ее судьбе нет ничего необычного. Необычной она становится только в руках гестапо. Она мать, как и я. На протяжении многих лет была доброй, верной женой, пока в один прекрасный день не связалась с другим человеком, который проявил к ней больше внимания и нежности, нежели придиричивый, всем и всегда недовольный супруг. Ее другом стал врач, по национальности еврей. Тем самым маленькая любовная история приобрела политическую окраску, а нарушение супружеской верности стало «осквернением расы». Для гестапо это была чистая находка. Бедную женщину затаскали по допросам, на которых нагло и с удовольствием выпрашивали об интимных подробностях этой дружбы. Каждый раз после таких допросов она возвращалась в камеру совершенно без сил и дрожащей от стыда. И сейчас, если кто-нибудь проходит по коридору и гремит связкой ключей, она вздрагивает от испуга и хватается меня за руку. Так велик ее страх перед этими допросами. Допрашивают ее преимущественно по воскресеньям. В этот день

изнывающие от скуки гестаповцы не знают, чем бы им заняться. Особое удовольствие доставляет им гнусными вопросами вырывать у бедной женщины все новые подробности, каждый раз нагло потешаясь над ее переживаниями.

Как правило, допрос начинается словами: «Ну ты, еврейская свинья, расскажи-ка нам все это поподробнее, небось, со своим парнем ты не была такой стыдливой!» После одного из таких допросов она возвращается перепуганной. Вне себя она рассказывает, как от нее потребовали определенных показаний, причем угрожали предъявить их мужу и опубликовать в «Штюрмере».

— Ведь у меня ребенок, — кричит она, — нет, я больше этого не вынесу.

Нервы ее полностью сдали. Мне стоит труда ее успокоить. Объясняю, что она, как и я, всего лишь жертва политических обстоятельств. Будь у нее связь с любым другим, только не с евреем, никого бы это не тронуло. Когда все мои уговоры не помогают, я становлюсь грубой. Я должна быть такой, иначе в результате самобичевания она утратит последние силы.

— Ты вовсе не плохая, — кричу я, — ты просто дура! Эти свиньи в гестапо, думаешь, они святые? Плевать им на то, что происходит у тебя в семье! Что же касается «Штюрмера», это явный шантаж. Расскажи обо всем адвокату.

Это действует. Клара успокаивается, беседует со своим адвокатом, тот добивается успеха, допросы прекращаются, начинается судебный процесс. За «осквернение расы» Клара получает год тюрьмы, врача отправляют на каторжные работы. Потом в концлагерь.

Заботы о чужой судьбе заставляют меньше думать о своей собственной. Они обременяют, но в то же время и придают силы. Я больше не чувствую себя такой одинокой и всеми покинутой, как прежде. Вновь могу разговаривать с людьми, некоторым даже высказывать свое мнение по тем или иным вопросам. По вечерам снова чувствую себя усталой. Много сплю. Состояние улучшается. Все переносится легче, хотя в моем деле никакого движения нет. От тебя лишь изредка поступают скупые, прошедшие строгую цензуру строки. Но я знаю, что ты жив. Только я собираюсь облегченно вздохнуть, как свидание с матерью меня окончательно добивает.

Она приходит вместе с Кетле. В день так называемого национального праздника. Во всяком случае, на парадном мундире пришедшего за мной старого вахмистра болтаются ордена и медали. По дороге в так называемую комнату для посетителей он сообщает о том, что там ждет меня мать. Меня

охватывает чувство огромной радости. Охотнее всего я бы тут же разревелась.

В ожидании встречи мать и Кетле стоят посередине отворотительной, унылой комнаты. Они смущены и молча смотрят на меня.

— Вот вы наконец, — тихо говорю я.

Мать сразу начинает плакать. Кетле неподвижна и не бежит, как обычно, мне навстречу. Она смотрит в упор только на вахмистра, смахивающего на начальника пожарной команды. Его форма вызывает у нее чувство уважения, возможно, даже страх. Наверное, страх. С изумлением взирает она на кучу наград, звенящих на его груди. Вахмистр шумно садится на стул у двери, всем своим видом показывая, что не желает мешать свиданию. Именно эта подчеркнутая поза особенно невыносима. Словно он выслеживает или подстерегает.

Но нам надо беседовать. Я спрашиваю об отце, умершем брате, о том, как дела дома. Мать все время плачет и едва в состоянии разговаривать. Кетле выросла. Уже второй год ходит в школу. Новое платье ей к лицу. Когда она смеется или разговаривает, видно отверстие от выпавшего переднего зуба, что часто бывает у детей в этом возрасте и вызывает чувство умиления. Мне приходит в голову, что мальчишки через это отверстие часто свистят. Кетле же, видимо, считает это недостатком и робко пытается его скрыть. Поэтому маленькая кокетка старается как можно меньше двигать верхней губой. Смотри же, смотри внимательно, говорю я себе. Сердце мое обливается кровью. На глаза навертываются слезы. Хочется крепко обнять мое дитя, прижать к своей груди. Но здесь это просто невозможно. Вместо этого спрашиваю о школьных отметках. Так хочется сказать матери ласковое слово, утешить ее, придать ей мужества, взять ее руки в свои и — не могу. Старый вахмистр смотрит на часы. Его обязанность следить за тем, чтобы произнесенные здесь слова и высказанные чувства не переходили дозволенных границ. Мучительно чувствую всю безотрадность этого свидания. Находясь под надзором, не могу раскрыть свое сердце. И замыкаюсь в себе. Прошу Кетле и впредь быть послушной и прилежной. Благодарю мать за ее заботливость и доброту. Бесконечно больно видеть, как она удручена и постарела. Я радуюсь, когда вахмистр встает и прекращает мои мучения. Прощание протекает быстро, пожатие руки, поцелуй, еще один, последний. У двери я оборачиваюсь, чтобы еще раз на них взглянуть, и киваю. Мать плачет навзрыд. Как на похоронах, когда гроб опускают в могилу. Кетле стоит, печально опустив руки, и смотрит мне вслед глазами, полными слез. До выхода из

комнаты я еще держусь. Но в камере сдерживаться уже нет больше сил, и тоска по дому охватывает меня с неудержимой силой.

Хорошо, что для размышлений не остается времени. В моей камере должны белить стены. Это необходимо из-за клопов. Меня переселяют в камеру к двум женщинам. Одна беременная, вторая — цыганка. Беременная уже на седьмом месяце. Удивительно, что ее не освобождают. Она объясняет: теперь это уже не практикуется. Она должна родить в тюрьме, а ребенка, пока она не отсидит положенный срок, поместят в детский дом. Она полагает, здесь ей будет неплохо, так как во время кормления грудного младенца к ней будут снисходительны и предоставят более легкую работу. Цыганка громко и оживленно рассказывает о своей семье из двенадцати душ, а также о кочевой жизни. Ее смех низкого, грудного тембра, зубы сверкают, а когда она рассказывает, у нее блестят глаза, но это несчастный, жалкий человек. Подобные создания вынуждены вступать в конфликт с существующим общественным строем и безжалостно им уничтожаются.

Поскольку наша камера недостаточно велика, чтобы в ней продолжительное время находилось три человека, меня вскоре опять переводят в другую камеру. На этот раз к члену партии. К Марии. До того я не знала ее, и встреча с ней мне приятна. Она на десять лет старше меня, страдает от тяжелой формы желчнокаменной болезни, она много испытывший, чудесный, мужественный человек. Ей хотят пришить дело по обвинению в государственной измене. Восемь дней находилась я в ее камере. За эти восемь дней я узнала о человеческой судьбе, задевшей меня за живое.

Двадцати лет Мария вышла замуж за товарища из молодежной организации КПГ. Не по романтической любви, а потому, что думала — она ему необходима. Он думал так же. Он тоже был еще очень молод, замечательный парень. Родился ребенок. Ойген стал секретарем партийной организации и в 1923 году несколько недель находился под арестом. Потом он уехал в Берлин. Сразу же последовать за ним Мария не могла, не было денег. Когда же она потом приехала, то поняла, что мужа у нее больше нет.

— Ни один мужчина, — говорит Мария, — не остается долгое время один. Мне следовало бы знать это. Но такова жизнь политических борцов. Им приходится надолго разлучаться, и вполне понятно, что такие браки расстраиваются.

Вполне понятно, говорит Мария. Вполне понятно. Мне очень грустно, когда я слышу эти слова. Разве и нам не приходилось

постоянно разлучаться? Такова жизнь политических борцов, говорит Мария. Она произносит эти слова совершенно спокойно, без горечи. Вообще она говорит очень разумно, рассудительно, ничего не преувеличивая. Надо жить врозь, если так сильно затянулась разлука. Это вполне логично. Внезапно меня охватывает панический страх потерять тебя. Если мы когда-нибудь вновь встретимся, не окажемся ли мы чужими друг другу?

Когда Ойгена перевели в другой город, Мария осталась работать в секретариате КПП в Берлине. В круг ее обязанностей входила помощь в организации стачечного движения на предприятиях, где преобладал женский труд. Она выступала на бесчисленных митингах в связи с проведением забастовок, сражалась с профсоюзными бюрократами и составляла резолюции.

Тогда она и познакомилась с Вилли. Тоже членом партии. Он ухаживал за ней с нежностью, которая глубоко ее взволновала. Она казалась ей чудом. Его любовь была как дар преподнесенный ей новой, лучшей жизнью. Она приняла ее с сердечной благодарностью, ответив на нее столь же сильной любовью.

Когда пришел к власти Гитлер, они уцелели каким-то чудом, их удивительным образом проглядели. Они перестроили свою работу на конспиративный лад, им сопутствовала удача. Два года их щадила судьба. Вилли работал на заводе. Мария подрабатывала, печатая дома на пишущей машинке научные диссертации. Вилли был дельным работником и проявил большие способности в создании Международной организации помощи борцам революции. Он добился значительного успеха. Менее чем за полгода им были созданы в Берлине многочисленные отделения этой организации. Теперь ему предстояло такие же отделения создать в Гамбурге, поскольку еще с прежних времен он хорошо знал и этот город, и работавших там коммунистов. Он собирался возвратиться не позднее чем через две недели. Но он не вернулся. Никогда.

Воспоминания причиняют Марии острую боль. Я больше ощущаю это, нежели вижу. Уже вечереет. Камеру заполняют сумерки. Койки уже опущены. Мы сидим на них на корточках, подтянув колени. Я должна думать о тебе.

Когда прошло несколько педель и Вилли не вернулся, Мария направилась в Гамбург. Товарищи сообщили, что Вилли уже уехал домой. Она тут же вернулась в Берлин, уверенная, что застанет его дома. Но он так и не появился. Вместо него пришли гестаповцы и арестовали ее.

— Ждали, небось, своего Вилли? — добродушно спрашивают господа из гестапо. — Конечно, вам было бы приятнее, если бы

вместо нас пришел Вилли, — продолжают они балагурить, — но он, к сожалению, никак этого сделать не может.

— Арестован? — спросила она.

— Что вы, — продолжали забавляться веселые господа, — никоим образом.

— Где же он? — робко спросила она.

— Вот это вопрос, — господам стало совсем смешно. — Он мертв, — вскользь проронили они.

Она не поверила.

— Если мы это говорим, — сказали гестаповцы, — можете не сомневаться.

Она думала, ей готовят ловушку.

— Вот шутница, — продолжали смеяться господа, — не верит, что Вилли мертв.

Всю эту историю они находили чертовски забавной. И так как они были не лишены чувства юмора, то привезли ее на кладбище и из могилы вырыли труп Вилли. И тогда она его увидела.

Голос у Марии дрожит, я слышу стоны. Может быть, я первый человек, которому она рассказывает весь этот ужас. Может быть, ей стало легче, когда она так со мной поговорила, не знаю. Сгущаются сумерки, и вместо лица Марии я вижу только мертвенно-бледное пятно.

И тогда она увидела, что он мертв. Убит. Она еще смогла его узнать. Она смогла увидеть следы нанесенных палачами ударов, ссадины и рубцы с запекшейся кровью от ушей до шеи.

— Вот видите, — весело сказали господа, — теперь вы верите?

— Почему его убили? — спросила она глухо.

— Потому что он упрямялся на допросах, — сказали господа. И шутливо добавили: — Надо надеяться, вы окажетесь более разумной.

Он не предал своих гамбургских товарищей, это они называли упрямством. Его арестовали в Гамбурге, на вокзале, когда он направлялся к берлинскому поезду. Его выдал провокатор.

В камере уже совсем темно. Слышно, как на казарменном дворе бьют копытами лошади. Потом опять полная тишина.

— С тех пор, — продолжает Мария, — я и застряла здесь.

Хотя они не могут к ней придаться — к работе Вилли она отношения не имела, — но что-нибудь обязательно раскопают или придумают.

— Вот, пожалуй, и все, — говорит Мария.

Все? — думаю я. А пролитые слезы, леденящий душу страх, глубокая скорбь и бесконечные страдания? Что могу я сказать в

утешение? Ей пришьют дело, организуют судебный процесс. Если ей повезет, получит несколько лет тюрьмы. Если мне, если мне повезет... В таком же положении многие тысячи других в этом «правовом государстве», не знаящем, что такое сколько-нибудь честный и порядочный суд. Деспотизм под маской юриспруденции. Никаких судей. Все они лишь орудие коричневого террора. Никакого права. Только несправедливость, вопиющая к небу.

Тюрьмы переполнены людьми подобной судьбы. Ими полны концлагеря, тюрьмы, города, церкви. Видит ли это кто-нибудь там, за тюремными стенами? Неужели служители церкви не видят расprostертых перед алтарями тысяч доведенных до отчаяния людей?

— Невероятно, — говорю я, — и это в двадцатом веке. Увы, церковь тоже оказалась несостоятельной.

Но и в этом аду может странным образом повезти. Однажды мне было разрешено письменно обратиться в католический богословский журнал, и я получила книги, письменные принадлежности и «Deutsche Allgemeine». Это случилось, когда я тяжело заболела и была близка к помешательству. И тут вдруг я получила определенное занятие.

Мария никак не реагирует.

Я рассказываю о швейной машине — она подроспела в самый подходящий момент.

— Разве это не счастье? — спрашиваю я.

— Разве можно назвать счастьем то, что продлевает страдания? — доносится из темноты голос Марии.

Я хочу ей ответить, но слышу, как тяжело она дышит. Начинается один из приступов ее желчнокаменной болезни. Горько, что мы не можем оставаться вместе. Я очень ей нужна. Приступы настолько болезненны, что она не может обойтись без посторонней помощи. На нее она, к сожалению, вряд ли может рассчитывать. Чтобы принести ей чуть теплую грелку, надзирательница должна быть в исключительно хорошем настроении. На трубах отопления я согреваю кое-как наше тряпье и накладываю на больное место. Работающая в эти дни уборщица находится здесь только временно и ненадолго. Она сочувствует больной и приходит ей на помощь. Вообще она человек добрый, хотя внушает страх в своих грубых тяжелых башмаках, мужской куртке и с короткой стрижкой. Без всякой видимой причины она сообщает, что побелка моей камеры задерживается, так как в ней делают кое-какую электропроводку. Это настораживает. Хорошо, что теперь я информирована.

Расставание с Марией дается мне тяжело.

Я действительно любопытна. По возвращении в мою сверкающую белизной камеру я тут же начинаю ощупывать стены, но ничего не нахожу. Может быть, уборщица меня обманула? Из осторожности я не перестукиваюсь, хотя удерживаюсь с трудом. Под моей камерой ожидает моего возвращения Ирмгард Беттингер. Пользуясь азбукой Морзе, она каждый вечер между десятью и одиннадцатью часами передавала мне последние известия из газеты. Долго раздумываю, не следует ли мне дать о себе знать, и все же не решаюсь.

Когда я уже готовила себе постель, открылась дверь камеры и надзирательница ввела женщину. Я сразу же подумала, что это будущая доносчица. Значит, уборщица не обманула, под штукатуркой наверняка спрятаны провода. Какое расточительство. До сих пор я полагала, что такое бывает лишь в идиотских детективных романах. По-моему, это глупо.

На вновь прибывшую я не обращаю внимания. Однако надзирательница подходит ко мне вплотную и начинает играть заученную роль.

— Привела вам соседку, — говорит она с фальшивым радушием, — чтобы хоть немного скрасить ваше постоянное грустное одиночество. Последнее время вы так удручены, что больно смотреть. Впрочем, удивляться тут нечему, вам столько пришлось пережить. Приближается рождество, уже второе, которое ваша малютка проводит без матери. Но дело ваше суд, вероятно, скоро рассмотрит, и все обойдется...

Ее елейные речи и неестественная суетливость меня насторожили бы, даже если бы я не была предупреждена. Едва сдерживаясь, я говорю только:

— Да, да, хорошо.

Она разочарована, торопливо желает нам спокойной ночи и удаляется.

Мы одни. Можно знакомиться. Женщина стоит и разглядывает меня. Очевидно, ждет повода завязать разговор.

— Здесь чертовски холодно, — говорит она наконец.

— Да, — отвечаю, — я тут очень мерзну.

Рассеянным взглядом окидываю ее нарядную, блестящую от лака прическу, большие, черные, круглые глаза, накрашенные губы.

На ней новый меховой жакет. Мои предположения, видимо, верны. Похоже, из предвестья или из провинции. Она роется в сумочке. Все у нее отобрали, ворчит она, кроме носового платка, губной помады и нескольких фотографий. Бережно вешает свой меховой жакет на спинку стула, видно, что он для нее в новинку и она к нему еще не привыкла. Возможно, жакет выдан ей как

аванс в счет будущей «работы». Тогда мне ее жаль. То, что она не политическая, вижу сразу. Может быть, подружка какого-нибудь чиновника из гестапо. Во всяком случае ее надо остерегаться.

Ее зовут Герта. Фрейлейн Герта.

— Вот, взгляните, — говорит она, показывая несколько небольших фотографий, — такой я была когда-то.

Снимки изготовлены явно напоказ. Выглядит она на них, как дешевая кинозвезда, Кармен со вздернутым носиком.

— Разве могла я когда-нибудь представить... — вздыхает она. Старая, хорошо знакомая песенка. — Что окажется здесь, — продолжаю я за нее, — утешайтесь тем, что вы не единственная. Может быть, это ненадолго.

— Надо надеяться, — говорит она. — Вообще, — добавляет Герта, — мне, как правило, всегда везет.

Везет, только не со мной, думаю я.

— Мои родители, — продолжает моя собеседница, — не должны это знать, они умрут с горя.

Эта фальшивая мелодия мне также знакома. Все вранье. Теперь начинается рассказ о ее судьбе. Возможно, до этого она прочла ка-кой-нибудь бульварный роман. Может быть, то, что она говорит, и правда. В этом страшном доме можно столкнуться с любой человеческой судьбой.

Она работала секретаршей в частной конторе. Что ж, продолжай, думаю я. Родители и сейчас полагают, что она работает в той же фирме, но за это время ей удалось добиться большего. Она из хорошей семьи. Родители имели магазин колониальных товаров в небольшом городе на юге Германии, были достаточно обеспечены. Она училась в средней женской школе, но, к сожалению, ее не закончила. Свое первое место работы она потеряла, так как отказалась поужинать с шефом.

— Я по уши влюбилась в одного молодого человека. Этот подлец виноват в том, что я здесь. Но теперь у меня прекрасное место.

— Теперь, — спрашиваю удивленно, — теперь же вы здесь?

— Да, конечно, но это пройдет. И я вернусь в свою старую фирму.

— Ну раз так, тогда вы прекрасно выйдете из положения.

— Да, но понимаете, — говорит она, переходя на доверительный шепот, хотя в этом нет никакой необходимости, — от шефа у меня должен был быть ребенок, но я от него избавилась. И мой бывший начальник на меня донес.

Вдруг она начинает громко всхлипывать:

— Мои бедные старые родители, если бы они знали!

Играет она очень плохо. Как артисточка самого дешевого

сорта.

— Но за аборт вы получите по меньшей мере два года тюрьмы, — говорю я сухо, — по нынешним временам дешевле вам не отделаться.

— Да? — спрашивает она равнодушно. — Вы так думаете? — Видимо, это мало ее волнует.

— Безусловно, — говорю я и рассказываю историю маленькой белокурой девушки, прислуги, сидевшей некоторое время в камере напротив, историю покинутой невесты, сделавшей аборт. — Три года тюрьмы.

Но и эта история, по-видимому, не производит на фрейлейн Герту никакого впечатления.

— Понимаете, у меня будет хороший адвокат. У моего друга большие связи.

— Он, наверное, эсэсовец? — спрашиваю я.

— Что вы, что вы, — она крайне возмущена, — как вы могли подумать такое! Чтобы я с эсэсовцем? Ни за что! С ними я не хочу иметь ничего общего! Между нами говоря, — она фамильярно подмигивает, — сейчас надо быть очень осторожной.

— Да, это верно. — Ответ звучит явно двусмысленно. Я собираюсь укладываться спать.

Фрейлейн Герту это по-настоящему пугает. Намеченную программу она, видимо, предполагала выполнить в первый же вечер.

— Но что это мы все время беседуем только обо мне, — оживленно говорит она, — возможно, вас это вовсе не интересует. Вы-то почему здесь?

— Да так уж вышло, ничего особенного. Мой муж занимался политикой.

— Ах так, понимаю, — прерывает она меня, — а вы были ему помощницей?

— Нет, — отвечаю, — женой.

Она озадаченно смотрит на меня. Прежде чем она успевает что-нибудь сказать, мы слышим горький плач. Это в своей камере безутешно рыдает еврейка Рут. Очевидно, ее только что привели после одного из допросов. Каждый раз она так плачет. Ее друг — партийный работник, его разыскивают. Требуют, чтобы она сообщила, где он скрывается. Ее пытаются.

— Что там происходит? — испуганно спрашивает фрейлейн Герта.

— Бог ты мой, к этому надо привыкать. Такое случается здесь часто. Сегодня она, завтра мы.

— За что ее? — спрашивает фрейлейн Герта.

— Она же после допроса, дурочка! — кричу я. — Вы уж

извините, — добавляю, — но разве вы не знаете, что так называемых политических допрашивает гестапо? И обращаются там не всегда очень любезно, да будет вам известно. Там задают серьезную трепку, фрейлейн Герта!

Фрейлейн Герта разевает от удивления рот и таращит глаза. Всего этого она, по-видимому, себе не представляла.

— Разве нельзя в таких случаях пожаловаться?

— Пожаловаться? Ну нет. Остается лишь молить бога, чтобы шкура оказалась достаточно толстой.

Она сразу становится смущенной и растерянной. Вопли, доносящиеся из соседней камеры, ей явно не нравятся. Они действуют ей на нервы. Ведь ей казалось, она вот-вот сблизится со мной. А тут начала вопить эта еврейская девушка. Это ее раздражает. Меньше всего испытывает она к ней чувство жалости и сострадания. Эта фрейлейн Герта вообще не может кому-либо сочувствовать. Она думает только о данном ей поручении.

— А что скажете по этому поводу вы? — спрашивает она.

— Я? Ничего.

Кажется, достаточно ясно. Несмотря на это, она делает еще одну попытку:

— Но ведь такого никак не следовало бы допускать.

— Многого не следовало бы допускать, тем не менее оно есть. Надеюсь, эти вопли не помешают вам уснуть?

— О да, — заверяет она прямодушно, — уснуть я смогу.

— Вот видите, — говорю я и откидываю одеяло. — Спокойной ночи!

Тут она наконец капитулирует.

Немало беспокойства причиняет она мне и в последующие дни. Как и можно было предвидеть, она становится все раздражительнее, так как ни в какие разговоры я с ней не вступаю. На ее вопросы даю непроходимо глупые ответы, вследствие чего она, вероятно, считает меня полной идиоткой. Под конец она уже настолько раздражена, что ведет себя откровенно провокационно. Возможно, потому, что чувствует, как от нее уплывает ее меховой жакет. В конце концов иссякает и мое терпение.

— Оставьте свои бесконечные расспросы, — говорю я, — что вам от меня нужно? Я сижу здесь уже два года, что может быть мне известно?!

— Вот уж и спросить ничего нельзя, — разыгрывает она из себя обиженную, — вы ведете себя так, словно понятия не имеете, почему тут сидите.

— Действительно не имею! — кричу я.

— Конечно, без всяких на то оснований! — замечает она

насмешливо-вызывающе, — вас послушать, так все политические сидят без оснований. Касается ли это вас или той еврейки напротив. Не сажают же в тюрьму только за то, что ты еврей!

— Ого, — говорю я, — поосторожнее! Разве вы не знаете, что во всем виноваты евреи?

Она глупо таращит на меня глаза.

— Именно они виноваты в том, — разъясняю я серьезно, — что в центральном магазине Шокена так подорожали брючные пуговицы, а в Штутгарте резко повысилась квартирная плата. Поэтому магазин конфисковали, а владельца отправили в концлагерь. Правда, после этого брючные пуговицы не подешевели и не снизилась квартирная плата, хотя дома, ранее принадлежавшие в Штутгарте евреям, перешли во владение арийцев, но это ничего не меняет в исторической вине евреев.

Фрейлейн Герта глупо смеется:

— Теперь вы шутите.

Наконец она поняла, что выведать у меня что-либо ей не удастся, и прекращает расспросы. Спустя три дня она из камеры уходит. Ничем не поживившись. Прощаясь с ней подчеркнуто дружелюбно. Она вылетает раздраженная и сердитая.

Проходит довольно продолжительное время, меня переводят из моей камеры к женщине, обвиняющейся в сборе денег для Международной организации помощи борцам революции. Сначала не понимаю, чем это вызвано. Позднее выясняется, что до начала судебного процесса ее боятся оставлять в камере одну. Она в подавленном состоянии. Простая бесхитростная труженица. На допросе сразу выложила все, что знала. Поэтому провалились все имеющие какое-либо отношение к этому делу. Она панически боится суда. Кроме того, ее постоянно терзает мысль, что муж вступит в связь с ее сестрой, которая теперь ведет у них домашнее хозяйство. На грифельной доске я учу ее игре в шахматы, заставляю разгадывать простенькие загадки. Из всех сил старается она все это проделывать, но горе ее слишком велико. Однажды ночью слышу ее стоны. Успеваю вовремя предотвратить несчастье. Она хотела повеситься. Поднимаю тревогу и вызываю надзирателя. Вместе с ним кое-как удается ее успокоить. В связи с этим инцидентом прошу вернуть меня в одиночную камеру. Не потому, что не хочу помочь бедной женщине, просто у меня нет больше сил делить с ней ее горе. Моему желанию тут же идут навстречу, вероятно, опасаясь, как бы в этой ситуации я тоже совсем не свалилась.

Мои силы действительно на исходе. В тюрьме я уже двадцать месяцев, большую часть времени в одиночке. Двадцать месяцев я жду допроса и суда. И скудных весточек о том, что ты жив.

Двадцать месяцев я живу с ощущением, что день за днем мы все более отдаляемся друг от друга и что это входит в планы наших мучителей. Двадцать месяцев как я одна или в обществе людей, также доведенных до отчаяния. Двадцать месяцев я вижу только клочок неба, время от времени несколько заблудившихся солнечных лучей, а ночью, когда светит месяц, тени прутьев железной решетки на стене. Чувствую себя смертельно больной. Ты сентиментальна, говорю я себе. Но я в это не верю. Я действительно смертельно больна. Ты так еще молода, говорю я себе. Но я в это не верю. Я чувствую себя древней старухой. Эти двадцать месяцев надо считать за срок больший в два, в сто раз. Они вообще не поддаются измерению. Ведь в течение всего этого времени я, по сути дела, не жила. Непрожитая жизнь. Я должна по этому поводу реветь. Я вовсе этого не хочу. Но слезы безудержно льются сами собой.

Тогда в тюрьме я тебе писала:
Я знаю, бег свой остановит время,
и станет все тоскливо-горестным вокруг,
без споров жарких... солнечного зноя...
лишь страх и тишина... ленивый бой часов...
Тяжелые, безрадостные годы...
И я стою у бездны на краю,
у одиночества в томительном плену,
хочу полезной быть своей отчизне,
но борются во мне надежды и сомненья:
взойдет ли для меня желанная заря?
И, как ребенка убаюкивает мать,
мечтами сладкими я сердце утешаю.
Мечты, мечты! Непрожитая жизнь
в них пенится бушующим потоком,
стремясь из мрака к свету и теплу.
И в грезах сладостных совсем не замечаю,
как юность милая в тумане исчезает,
в борьбе глухой мои уходят силы,
души порывы тихо замирают,
души, почти не знавшей, что такое жизнь.
Я знаю, день придет, и крылья смерти
меня умчат в таинственную даль.
Душа усталая там обретет покой...
На землю тихо опустилась ночь,
но утренней зари мне больше не встречать.

Время остановилось. И в стихах, которые я читаю, оно тоже

остановилось. Швейную машину у меня отобрали. Отняли все.

В том числе и то небольшое самообладание, которое, как я полагала, мне удалось вновь обрести за время общения с людьми. Зато приближается рождество. Это чувствуется везде. Его приход ощущается даже через стены. Вызывают отвращение попрошайничество, беготня, мелкая зависть и подмигивания. И все ради кренделя, елочной веточки, нескольких яблок и брошюрки религиозного содержания в сочельник. Разумеется, в течение последних шести недель не должно быть никаких нарушений дисциплины, в остальном же все остается по-прежнему. Те, к кому особенно благоволят, получают отрывные календари. Но для этого нужна неправдоподобно отличная аттестация. Надзирательницы парят в коридорах, как рождественские ангелы. Да и вахмистр воображает себя Дедом Морозом.

Сочельник. Немецкое рождество. Печальнее обычного сидим в своей камере, держа в руке веточку елки. Еще совсем недавно она находилась в зимнем заснеженном лесу.

Оживают воспоминания. Лучше бы они не приходили. Во всяком случае, сегодня. Хочу лишь еще разок немного подумать о доме, тогда будет хорошо. Сейчас они стоят там вокруг елки и — плачут. Конечно, плачут. А ты в это время мерзнешь в своем бараке. У нас в виде исключения сегодня хорошо топят. От-куда-то доносится рождественская песня. На землю я иду с небесной высоты. Должно быть, поет женщина-детоубийца в камере наискосок от меня. Черт побери, вот тебе и развлечение в праздник. Ничего себе, организовали приятный денек. Правда, за это время узнаешь кое-что новенькое. Получаешь некоторое представление о товарищах по несчастью, даже не зная их в лицо. Кто же находится рядом с тобой?

Прежде всего здесь те, кто тысячу раз клянется не делать больше ничего такого, что могло бы привести их к конфликту с законом, кто скулит, умолая о пощаде, кто у церкви бросается на пыльную паперть, восхваляя господа бога в надежде, что теперь душа их будет очищена от скверны и после тяжелых испытаний обретет путь в лоно спасительной церкви. Таковы одни. Другие осознали наконец, что наш «любимый фюрер» не только «величайший» немец всех времен, но жертвует личным счастьем для блага своего народа. Эти, конечно, являются любимцами тюремной администрации. Им нет нужды расprostертыми валяться на ступеньках алтаря или переносить какие-либо душевные невзгоды, они выказали горячее желание читать нацистскую литературу, за что получают дополнительно миску еды и с ними обходятся несколько более лояльно. Затем имеется

группа заключенных, потерявших всякое самообладание, они вечно яростно вопят и скандалят, бранятся и сквернословят, по ночам бьются в истерике и отчаянно барабанят в двери своих камер. Некоторые из них в сочельник набрасываются на рождественских ангелов с похабнейшей руганью и грубо оскорбляют растроганного в эту ночь надзирателя, так что, наряду с возвышающими душу песнопениями, тюремные обитатели не лишены и обычного рода развлечений.

Только мужественные хранят молчание. Они стискивают зубы, подавляют в себе могущее возникнуть чувство умиления, не становясь при этом мелкими и отвратительными. К ним я отношу себя. Внешне ко всему безразличная и, видимо, полная смирения, я притаилась в углу камеры. На самом же деле я вовсе не полна смирения. Нет, я не сильная, я полна отчаяния. Но я не хнычу. Я боюсь. Боюсь смерти. Но я это не показываю. Как часто я желала смерти и верила, что не испытываю больше перед ней страха. Теперь я ее боюсь. Глупое чувство этот страх. Возникает он где-то в области желудка, не дает свободно дышать, железным обручем ложится на грудь, заставляет учащенно биться бедное сердце, резко подскакивает пульс, ты покрываешься холодным потом и становишься настолько слабой и бессильной, что едва стоишь на ногах. Потом начинает гореть лицо. За ним лоб. Может быть, у меня повысилась температура. Конечно, у меня жар, думаю я. Твердо решаю сохранять спокойствие, а завтра обратиться к врачу. Потом мне приходит на ум, что врач — тоже всего лишь служащий гестапо и вовсе не пожелает мне помочь. Судорожно пытаюсь думать о чем-то другом, радостном, но мне это не удается. Закрываю глаза. Может быть, все это мне только снится. Может быть, я проснусь и окажусь дома. Но я не дома. Я в тюрьме. Спрашиваю себя, почему? Спрашиваю тебя, почему? Проклинаю свою судьбу, спорю с богом и всем миром, а также с тобой. Почему я послушалась тебя? Почему не осталась тогда в Америке?

Там мне было бы хорошо. Друг Цевиса, в доме которого я была домашней работницей, готов был создать мне спокойную обеспеченную жизнь. Ах, муж мой любимый, что знаешь ты обо мне?

Он был редактором известной американской газеты. Он показал мне Буэнос-Айрес. И показал бы мне мир. Он знал его. Имел правильное представление о социализме. Однажды я спросила его, почему он с такими взглядами продает свой талант капиталистической прессе.

— Вы не знаете, — отвечал он, — как прекрасен мир. Только так я смог его познать. Может быть, когда-нибудь я перейду в

леворадикальную газету. Ради вас. Но теперь я хотел бы еще попутешествовать.

Он бы тут же взял меня с собой. Ах, если бы ты был на его месте! Я на самом деле какое-то мгновение колебалась. Это не было романом, это было нечто большее, дружба с утонченным, мыслящим человеком.

Мы проводили прекрасные вечера в дядюшкином саду в Сааведра, где спорили до одурения. Конечно, о Германии. Спорили типично на немецкий лад. Дядя Фукс не скрывал своей неприязни к прежней родине. Артура тревожили наши мысли о роли гипертрофированного устремления к власти, о преувеличенной роли идеализации. Однажды он вспомнил, как восторженно откликнулась одна ведущая немецкая газета на вступление Америки в мировую войну: «Много врагов, много чести для победителей!» Это уже не имеет ничего общего с политикой, заявил он, это патологическая мания величия!

Я не могла ему прекословить. Тем не менее я пыталась доказать, что Германия могла бы извлечь урок из ошибок прошлого. Меня высмеяли.

— Этого ты не дожدهшься, — сердито кричал дядюшка, — зато ты дожدهшься другого! Гитлер требует аннулирования Версальского мирного договора. Народ орет от восторга и сбивает ладони в кровь от аплодисментов. В один прекрасный день он перестанет аплодировать, но...

— Но? — повторил Артур и посмотрел на меня.

— Но ведь пока мы тоже еще существуем, — сказала я. — Немецкое рабочее движение позаботится о том, чтобы нацисты не взяли верх в рейхстаге!

В этот момент я, должно быть, подумала о тебе и твоей работе.

— Война начнется в Италии, — полагал Артур. — Муссолини мало Абиссинии, он думает о реставрации Римской империи. Там все поставлено на службу войне. Даже вывешенный в холле отеля безобидный плакат о зимнем спорте с изображением головы римлянина.

Был один из тех чудесных аргентинских вечеров, когда теплый восхитительный воздух ощущается как нежная ласка. Мы же говорили о войне.

Я многому научилась у Артура. Он не только знакомил меня с Буэнос-Айресом и Аргентиной. Я узнала много нового, поняла сущность различных явлений, стала лучше разбираться в тесной взаимосвязи происходящих в мире событий, в главных особенностях различных политических течений, методах политической борьбы. На его машине мы исколесили вдоль и

поперек солнечную страну. Он никогда не был скучным, суетливым. Все, что он говорил, всегда было интересно. Он показывал мне, как торгуются в гавани с арабскими торговцами, расспрашивал грузчиков, большей частью негров — от интенсивно-черного до красивого кофейного цвета метисов, — об оплате их труда и условиях жизни. В одну из чудесных поездок в Рио он показал мне лепившиеся на скалах маленькие рыбацкие деревушки. Он беседовал с рыбаками, живущими рыбной ловлей и охотой на акул. Ежедневно они рискуют жизнью, а на свой заработок могут купить лишь глиняную хижину да обзавестись женой и кучей детей, бедствующих вместе с ними.

Рио-де-Жанейро. Тропически сочны и ярки краски цветущего кустарника. Бесконечное разнообразие красивейших цветов. Орхидеи. Буйно разросшиеся растения на улицах и стенах окрашенных в белый цвет домов издают удушливый аромат. Бесчисленное количество крохотных пестрых птичек. И пальмы! Пальмы, которые я знала только по сказкам. Здесь была их родина. Банановая пальма, плоды которой заполняют рынки Рио-де-Жанейро, встречается на каждом шагу. Высокие благородные, стройные пальмы, образующие целые аллеи. Пальма, одинокая красавица. Подлинно сказочная пальма.

Мой друг открыл мне двери в новый, более обширный и красивый мир и сказал: прошу вас! Это было сильным искушением. Если я говорю, что колебалась какое-то мгновение, то это не совсем верно. Я долго колебалась. Но моя любовь к тебе была сильнее, чем обширный и более красивый мир. Твои письма, в которых ты иногда писал о том, как ты соскучился и что каждый вечер рассказываешь Кетле обо мне, ничего не решали. Они только подтверждали то, что было давно решено. Я никогда не смогла бы уйти от вас. Я никогда, ни одной минуты не раскаивалась в том, что осталась с тобой. Когда я думала о нашей встрече, когда я представляла себе, как ты идешь мне навстречу своими большими длинными шагами с сияющим от радости лицом и широко распростертыми руками, а я как всегда бросаюсь тебе на шею, я готова была, улыбаясь от счастья, отдать за это весь этот прекрасный мир. Я не могла дожидаться дня, когда заработанных мною денег будет достаточно на обратный проезд и покупку некоторых вещей, которые мне хотелось привезти с собой. Поэтому, кроме основной службы у Цевисов, я взялась гладить белье в одной из прачечных. Работу следовало выполнять тайком, так как Цевисы не должны были знать об этом. Гладила я белье четыре раза в неделю, по ночам, между часом и пятью утра. Когда меня спрашивали, почему я вдруг так похудела и побледнела, я говорила, что это от тоски по дому.

Мой дорогой муж, это была тоска по дому.

Потом я возвратилась. Мы снова были вместе и счастливы. Две недели спустя ты уехал по делам партии. Ты заранее дал на это согласие, хотя знал, что я должна вернуться. Что ж, ты хотел добиться каких-то результатов. Сердцем я это понимала. За девять месяцев твоего отсутствия я за счет моих сбережений и назло более обширному и красивому миру заново обставила нашу квартиру — не такую большую, зато более счастливую. Ты возвратился. Мы снова были вместе. На этот раз целый год. Теперь ты был редактором, депутатом ландтага. В шуме и грохоте надвигающейся политической катастрофы ты бесстрашно и страстно выступал с предостережениями о грядущей опасности. Это не помогло. Гитлер пришел к власти. Мы наблюдали массовое безумие, под барабанный бой и звуки фанфар началась добровольная капитуляция народа. Мы не склонили головы, как другие. Мы не сложили добровольно оружия, как другие. Мы предостерегали от этого других. Поэтому нас объявили врагами государства. Являемся ли мы таковыми? Да, от всего сердца. Ибо это государство — основной источник зла. Чтобы я этого не забыла, меня тем временем поставили в известность, что, кроме подготовки к государственной измене, меня обвиняют также в сопротивлении представителям государственной власти.

Что такое государственная власть, власть этого государства? Террор. Штурмовик и полицейский, которые вправе тебя избить и арестовать. Эсэсовец и чиновник гестапо, которые лишат тебя собственности и затем отправят в концлагерь, на смерть. Казарменные дворы, рычащие унтер-офицеры и ортсгруппенляйтеры, и знамена со свастикой, газеты и канцелярии с портретами Гитлера, и концентрационные лагеря, и тюремные камеры, и суды, и судьи, и доноскики, и ужас и страх перед этим государством — все это его, государства, власть. Этой власти я оказывала сопротивление, это верно. Я его оказываю и сейчас. Пока я однажды не повешусь на окне или истерзанное сердце само не перестанет биться. Без судебного процесса, который является всего лишь предлогом.

В один из вечеров мне в камеру вместе с едой приносят обвинительное заключение. В известной мере в качестве приложения. Не хватало только, чтобы уборщица к этому сказала «на здоровье». Этот обвинительный акт — мое спасение. Не потому, что он хороший, он убийственный. Но он говорит о том, что я еще здесь. Он выводит меня из состояния летаргии и сурово ставит на ноги. Это нападение, против которого я могу защищаться. Я ждала его два года. Я вправе держать его у себя четыре дня, потом я должна его вернуть. Я выучила его наизусть.

О начале процесса мне сообщают дополнительно. Ждать придется недолго, так что для подготовки к нему времени у меня мало. Это хорошо, я не устану от длительного ожидания. Дело мое несложное и особых вопросов не вызывает. Рассчитывать на справедливость в этом государстве не приходится. Но я могу затруднить ему совершение несправедливости. Правда, мне нелегко заставить себя сосредоточенно мыслить. Все вновь и вновь у меня возникают смутные надежды. Они вселяют мужество в усталое сердце, но лишают мысль столь необходимой ясности.

За пять дней до начала суда меня посещает официальный защитник, респектабельный адвокат, так называемый правозащитник, явно равнодушный к моей судьбе, но корректный, изучивший законы обыватель. Рубашка на нем с накрахмаленным пластроном, он больше всего заботится о том, как сам будет выглядеть на процессе, но при этом по-своему порядочный. Давая мне необходимые, с его точки зрения, наставления, он явно торопится и нервничает.

— Ну как можно делать такие глупости, фрау Хааг. Вы должны были знать, насколько опасны такие истории.

— Сейчас я все это поняла, впрочем, быть честным — всегда опасно. Теперь я это знаю. Но теперь мне ничто уж не поможет, господин адвокат.

— Я бы этого не сказал, — быстро отвечает он и рассеянно перебирает бумаги, как бы в поисках какого-то документа.

— Что вы, собственно, хотите этим сказать, господин адвокат? — спрашиваю я, улыбаясь. Вижу, насколько неприятно ему это дело.

— Так вот, — говорит он, растягивая слова, — многое я сделать, очевидно, не смогу. Защищать себя вы должны сами. Я в лучшем случае смогу вам только оказать некоторую помощь.

Произнося эти слова, он явно чувствует себя неудобно.

— Вот как, — говорю я удивленно, но, как ни странно, я не смущена и не разочарована, напротив, меня это едва ли не радует. — Не беда, — говорю я уверенно, — я сумею защитить себя сама. За словом в карман не полезу.

Сознание, что не могу рассчитывать на чью-либо помощь, заставляет меня напрягать все свои силы.

— Охотно верю, — удовлетворенно и, видимо, с облегчением говорит адвокат, — но будьте осторожны.

— За последнее время я этому также научилась.

— Тогда все будет не так уж плохо, — замечает он, бросая на прощание ничего не стоящее «только не вешать голову!».

У двери он еще раз оборачивается — может быть, с моей стороны последует какой-либо вопрос. Но к господину адвокату у

меня вопросов нет. Господин адвокат очень торопится.

Стараюсь как можно лучше использовать оставшиеся в моем распоряжении считанные дни. Внутреннее напряжение делает меня относительно бодрой. Наконец наступает день суда.

Я плохо спала. Дыхательная гимнастика должна успокоить взбудораженное сердце. Однако это не так легко. Чувствую себя какой-то расслабленной.

На тюремной машине меня привозят в здание суда. Около ступенек у входа люди останавливаются и смотрят мне вслед. Не хочу оборачиваться, мне знакомо выражение любопытства и злорадства на их лицах.

Мы в теплом помещении, но я мерзну, видимо нервы. Мне сковали руки как опасному преступнику. «Модные сейчас браслеты!» — натянуто улыбаясь, говорю я эсэсовцу, который ведет меня в зал. Но тот холодным взглядом смотрит мимо. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Знаю, что мое замечание глупо, по меньшей мере излишне, и я тут же о нем сожалею. Оно должно было прозвучать шутливо и скрыть неожиданно охватившую меня неуверенность. Понимающий взгляд, который последовал бы в ответ на мои слова, придал бы мне сил. Но рядом со мной не живое существо, а робот в мундире.

В зал я вхожу совсем растерянной. Счастье, что Зепп уже здесь. Это сразу придает мне уверенность. Вижу и защитника, он мне кивает. Потом замечаю товарищей по партии из моего города, несколько месяцев назад их выпустили, теперь же привлекли в качестве обвиняемых по тому же делу. Несколько журналистов рассматривают нас с наглой бесцеремонностью. Но их расчеты не оправдаются. Сенсаций не будет, так как умер друг Германа Нудинга, главная фигура предстоящего процесса. Процесс наверняка вызовет лишь местный интерес.

Зепп приветствует меня взглядом. Это первая наша встреча после длительной разлуки, и я рада, что он неплохо выглядит. Похудел, правда. Поношенный костюм на нем висит. Выражение лица напряженное, но чувствую, что он сохраняет самообладание. Он, по-видимому, в хорошей форме и спокоен. Я тоже пытаюсь держать себя должным образом, хотя это огромное, мрачное и торжественное помещение не способствует сохранению душевного равновесия. Вся обстановка здесь для меня непривычна. Собираюсь с мыслями и повторяю про себя слабые пункты обвинения, чтобы потом, когда надо будет защищаться, иметь их под рукой.

Входят члены суда, мы обязаны встать. Стражи закона в черных мантиях послушно поворачиваются к стене, на которой висит портрет Гитлера, и приветствуют его поднятой рукой. Все

присутствующие в зале делают то же. Только мы, обвиняемые, не следуем их примеру.

Комедия начинается. Зачитывается обвинительный акт. Только потом мне становится ясно, что именно происходит. Вначале я сижу, как в дурмане, ничего не понимая. Гудит голова. Слишком много новых впечатлений. Я не привыкла к такому скоплению людей. Приводит в замешательство громкая речь. Лишь постепенно проясняется картина. Одно за другим я рассматриваю лица. На них нельзя обнаружить и следа понимания того, что происходит, тем более сочувствия. Совсем не ощущается, что здесь речь идет о человеческих судьбах. Таким же образом обсуждался бы деловой доклад или строительный проект. Только прокурор, видимо, внутренне переживает все, что происходит в зале суда. Как подстерегающий свою жертву инквизитор, возвышается он над темными рядами стульев в зале. У него худое, изможденное лицо с выступающими скулами, глубоко посаженными глазами, под которыми темные округлые тени, лицо фанатика или страдающего болезнью печени. Он непрерывно разглядывает меня, взгляд его безжалостен и опасен, взгляд жестокого человеконенавистника, заботящегося не о соблюдении закона, порядка и справедливости, а единственно об удовлетворении низменных страстей, главной из которых является переполняющая его ненависть. Я остро чувствую, что он собирается жестоко со мной расправиться.

Зато совсем иным выглядит судья. Это коренастый, все еще статный мужчина, у него русые волосы, румяные щеки, лицо здорового человека. Думаю, что под мантией он носит элегантный костюм, наверное, у него есть дети. Весь он очень ухоженный, его движения непринужденны, говорит спокойно, у него хорошая речь, и на него приятно смотреть. В течение двадцати месяцев я не видела ни одного настоящего мужчины, одних только тюремщиков, наверно, потому лезут в голову такие пустяковые мысли.

Конечно, и судью не так занимают мысли о справедливости, как о надлежащем исполнении своих служебных обязанностей, и, несомненно, ему совершенно безразлично, преступник или страдающая мать сидит на скамье подсудимых, точно так же, как ему было бы безразлично, портрет монарха или преступника висит над его головой. Или там не будет никакого портрета. Или, как когда-то, будет висеть крест. Главное в том, что он судья, и не имеет значения, чем он руководствуется — римским или более простым, обычным правом. Он исполняет свою роль, играет ее хорошо, выразительно, продуманно и, очевидно, охотно, ибо, безусловно, приятно сидеть там, наверху. Его вопросы и

замечания вызваны отнюдь не интересом к происходящему на суде, не говоря уже о личном мнении по какому-либо вопросу, они свидетельствуют лишь о выполнении обычной, заранее установленной судебной процедуры. Поэтому он останется совершенно равнодушным к тому, какие доводы я приведу в свою защиту. «Высшее» существо в черном одеянии вовсе не желает знать об этом, его замечания и вопросы — лишь пустые фразы, дань учтивости по отношению к его коллегам, сидящим напротив, он судит и осуждает только по своему усмотрению и в зависимости от настроения в данную минуту. То, что сейчас он в хорошем настроении, мне становится очевидным примерно через час, как и то, что из всей бутафории обвинительного акта остается лишь распространение нелегальных информационных листов и продолжение запрещенной партийной работы.

Уже очень скоро вижу, что этот процесс — всего лишь дурацкий спектакль, у меня нет никакого желания принимать в нем участие даже если мне уготована в нем трагическая роль. Пусть поступают, как им угодно, подыгрывать им я не собираюсь, хотя прокурор изо всех сил старается меня доконать и, как старый глупец, упрямо преследует одну и ту же цель. Но обвинение в том, что я продолжала вести запрещенную законом партийную работу, остается недоказанным. Для Зеппа прокурор требует трех, для меня двух с половиной лет тюрьмы и несколько лет поражения в правах. Поражения в правах!

В двенадцать часов дня объявляется перерыв. Хотя у меня нет оснований особенно радоваться, но ощущение того, что весь этот судебный вздор наконец позади, создает хорошее настроение. Ем я с большим аппетитом, впервые за долгое время.

После обеда выступления защиты. Мне кажется, я спокойна и объективна, хотя постепенно начинаю нервничать. Суд удаляется на совещание, появляется вновь. В эти минуты многое можно было бы рассматривать с интересом, комичной выглядит степенная серьезность судебной церемонии, смешно наблюдать, как взрослые люди снимают и опять надевают свои шапочки, но в момент, когда решается моя судьба, мне не до смеха. Я получаю всего два, Зепп — два с половиной года тюрьмы. С зачетом предварительного заключения.

Это хороший день. Судорожное напряжение, сковавшее меня во время оглашения приговора, сменяется чувством облегчения. Внезапно я осознаю, что большую часть назначенного мне срока я уже отсидела в предварительном заключении и скоро буду на свободе. Радость овладевает мной с такой силой, что я готова разрыдаться. Хорошо, что судебное заседание быстро заканчивается. От заключительного слова мы отказываемся. О

помиловании не просим.

Едва оказавшись в камере, я тут же пишу тебе. Я это выдержала, сообщаю. Такое же будет в свое время и с тобой, пишу я, надо надеяться, уже скоро. Не могу не думать о своих последних письмах, полных малодушия и отчаяния. Не напрасны были наставления, содержащиеся в твоём последнем ответе. Как ты выразился? Требую от тебя, писал ты, при всех условиях сохранять самообладание. Очень надеюсь, писал ты, что останешься мужественной. Что ж, разве не была я мужественной?

За то время, что я находилась в одиночке, у меня сложилось собственное представление о мужестве и храбрости. Когда я была смертельно усталой, апатичной, ко всему равнодушной и настолько полной отчаяния, что, лишённая всех свойственных человеку ощущений и восприятий, переставала реагировать на причиняемые мне терзания, а со стороны казалась весьма храброй, то на самом деле я не была такой. Храброй была я только тогда, когда сознательно переживала все мыслимые страхи, от них страдала, сетовала на посланные мне горести, роптала на судьбу и восставала против нее. В эти минуты никто на свете не мог бы помешать мне повеситься.

Только тот, кто, полностью отчаявшись в жизни, тем не менее борется за нее, обладает и волей к жизни, и мужеством жить. Быть здоровым как бык еще не значит быть храбрым, даже если яростно наносить удары во все стороны. Храбрый — человек впечатлительный, тонко чувствующий, способный осознать всю огромную степень угрожающей ему опасности и, несмотря на это, сохраняющий непоколебимую стойкость.

Но я держалась мужественно. Разве нет, мой любимый?

Я стойко держалась почти два года. Недостает всего двух месяцев. Чтобы соблюсти букву закона, меня помещают на это время в земельную тюрьму Готтесцелль-Гмюнд, в которой я ранее находилась. Но прежде меня еще раз навещает официальный защитник, желая проститься. Он рассказывает, что по окончании судебного заседания раздосадованный прокурор в ярости швырнул свою шапочку на стол и поклялся отправить меня в концлагерь. Я смеюсь.

— Пусть господин прокурор вволю позлится! — говорю я. — Через два месяца со всем этим будет покончено.

Раньше, смело могу сказать «в мое время», Готтесцелль была одновременно домом заключения, каторжной тюрьмой, исправительно-трудовой колонией и концлагерем для всей земли Вюртемберг. Теперь это только тюрьма, настолько увеличился массовый приток заключенных. Обитателей каторжной тюрьмы перевели в Айхах, подлежащих пребыванию в концлагере

отправили в Лихтенбург близ Торгау.

Итак, я отмечаю встречу с моей старой знакомой. Путешествие в Готтесцелль заканчивается без происшествий, Вместе со мной туда отправляют несколько женщин, осужденных за мелкие кражи, и прислугу, брошенную отцом ее ребенка и уличенную в лжесвидетельстве. Недолго думая, она приписала отцовство другому, неповинному в том человеку.

Нас моют и переодевают. Тюремная одежда состоит из черной толстой юбки, черной, болтающейся, как на вешалке, куртки, долженствующей скрыть все, намекающее на принадлежность к женскому полу, передника, шерстяных чулок, тяжелых башмаков, грубого белья и шарфа. Вся эта одежда, которую мне небрежно швырнули, велика мне, кроме того, застирана и в отвратительных заплатах. Она болтается на моем худом теле, и я, наверное, выгляжу, как огородное пугало. Юбку и прочее я то и дело должна подтягивать, так как все вещи упорно сползают. Особенно неудобно это во время прогулки в тюремном дворе, так как руки надо держать за спиной. Потом, когда я получила задание вязать гольфы, я стала подвязываться пояском, сделанным из украденных шерстяных нитей.

Конечно, поместили меня в одиночную камеру. Знакомых я, по-видимому, здесь не встречу. Паулу Лёффлер из Швеннингена тем временем отправили в Айхах, ей дали два года каторжной тюрьмы. Меня навещает пастор евангелической церкви. Иногда он приносит книги.

Имеется здесь и тюремный врач, снискавший, однако, дурную славу; он широко известен чрезмерной строгостью и грубостью, прирожденный тюремный врач третьего рейха. На женщин, обратившихся к нему за помощью, он орет: «Что, решили поболеть? Чудесная мысль!» Женщине, родившей в тюрьме и попросившей потом необходимый ей бюстгальтер, кричит, что она и без бюстгальтера сможет нести свои два фунта мяса. Не удивительно, что в этой земельной тюрьме статистика заболеваний выглядит идеальной, так как женщины остерегаются обращаться к такому врачу за медицинской помощью. Все в порядке, все здоровы, ухожены, обеспечены, питание превосходное. Статистика это подтверждает. Статистика свидетельствует о большем, о том, что в национал-социалистском третьем рейхе заключенные в тюрьмах содержатся в лучших условиях, чем когда-нибудь ранее, и главное — с ними обращаются несравненно человечнее, чем при прежнем режиме.

Есть у нас даже школа. Настоящая школа, в которой мы занимаемся по часу четыре раза в неделю, со школьными скамьями и учительницей. И, разумеется, с портретом Гитлера.

Сидят здесь взрослые женщины, усталые, измученные, исстрадавшиеся женщины, удрученные матери и легкомысленные воровки, сидят на узких скамьях дружно, как первоклассники, прижавшись друг к другу, и тихими неуверенными голосами поют задорную, веселую песенку. Потом, смущаясь и конфузясь, заученно лепечут фразы, которые им в уста вкладывает учительница. Фразы звучат примерно так. Какое государство является непреходящим? Непреходящим является национал-социалистский рейх. Кто самый прославленный человек двадцатого века? Наш фюрер Адольф Гитлер. Кто самые храбрые и благородные воины в мире? Наши солдаты. Кому принадлежит наша жизнь? Наша жизнь принадлежит нашему фюреру. Иногда я должна ущипнуть себя за руку, чтобы убедиться, что все это происходит не во сне. Что думает эта учительница, задавая подобные вопросы? Не верю, чтобы при этом она вообще думала. Полагаю, мнит себя миссионером, а мы для нее дикари. Ведь иначе это было бы невозможно.

Для чтения здесь выдают произведения новейшей немецкой литературы национал-социалистских авторов, шовинистическую литературу, книги о войне, книги, прославляющие войну. Читаю их с чувством возрастающего удивления, тенденция их однозначна и ясна, каждая страница написана как бы по приказу. Они возвеличивают войну, сражения, силу и славу оружия, мощь и неприкрытое насилие. В таких книгах человек — ничто. В них утверждается: государство — это все, нация — это все, фюрер — это все, мы обязаны «свято» хранить традиции нашей истории, обильно политой кровью. Неужели это народ поэтов и мыслителей? Теперь мы должны стать народом «героев», летчиков, моторизованной пехоты, фанатиков. Таково желание фюрера. Таково желание усердных составителей этих книг. Это подлинные поэты нации. Эти книги — книги нации. Их читают не только в тюрьме Готтесцелль в одной из земель Германии, их читают повсюду, по всей стране. Именно это меня тревожит. Но тревожит не только то, что эти книги читают, а то, что литературу, открыто и систематически подготавливающую народ к войне, читают без чувства протеста, что она притупляет мысль, способность размышлять, принимается на веру, вызывает не отвращение, а восторг, не желание оказать сопротивление, а одобрение.

Я простой человек, уже два года нахожусь в тюрьме, не имею специального образования, но мне достаточно лишь ознакомиться с этими книгами, чтобы ясно осознать опасность, которую они представляют. Каждый умеющий читать найдет здесь прославление насилия, вызванный к жизни дух пруссачества в его

наиболее отталкивающим виде, нелепые притязания Германии на мировое господство. Неужели никто не понимает, что творится у нас и куда мы идем? Не слышит барабанного боя, трубящего рога, гула массовых шествий, грохота военных парадов? Не задумывается о цели, которую преследуют выступления фюрера на митингах, сборы штурмовиков, подстрекательство народных масс? Не усматривает в речах министра пропаганды, его многочисленных статьях самой бесстыдной демагогии? Иногда их зачитывают и нам. Они недвусмысленны, тем не менее никто не хочет это понимать. Я знаю об этом, хотя в течение двух лет была отрезана от мира. Чувствую это сквозь стены и решетки. У меня нет статистических данных, да и не нужна здесь никакая статистика, чтобы ясно представить себе: все большее количество людей поддерживает этот режим и все меньшее его отвергает. Несогласные с режимом переполняют тюрьмы и концлагеря, их количество все возрастает, активных противников режима не так уж много, но это люди, которые ведут борьбу сознательно и страстно.

С ужасом всматриваюсь в будущее. В эти дни и недели я часто думаю о нем. Когда читаешь эти книги, перед тобой начинают медленно вырисовываться его контуры. О будущем я думаю безотносительно к тому, в какой мере оно касается меня или нас. То, к чему призывает эта литература, означает конец человечности, гуманности в нашем народе, независимо от того, разразится война или нет. Наступит день, когда в Германии не останется ни одного человека, будут только солдаты и рабы, охранники, зазнавшиеся бюрократы и концентрационные лагеря. Полагаю, войны не миновать. Ей будет подчинено все. Мы хотели это предотвратить. Не получилось.

Таков горький итог моего двухлетнего пребывания в одиночном тюремном заключении. Можно считать, оно позади. Несколько недель, которые осталось пробыть здесь, не в счет и меня не страшат. В принципе их можно рассматривать как прощание с тюрьмой. Я не ужасаюсь больше от вида камеры, железных прутьев на окне, надзирательницы, от длинных бессонных ночей. Бесконечно радуется предстоящая свобода, но в то же время пугает будущее. Я уже живу в нем, хотя какое-то время еще должна находиться в тюрьме. То, что связано с пребыванием здесь, я преодолела. Внезапно увидела его другими глазами, как бы на расстоянии, как случайный посетитель, рассматривающий вблизи жизнь, протекающую в тюремных стенах.

Поэтому, прежде чем уйти отсюда, я еще раз иду в церковь, так сказать, для полноты впечатлений. Впрочем, также из

вежливости к пастору, который часто меня навещал. Своего рода ответный визит. Кроме того, может быть, увижу там товарищей по предварительному заключению на Веймарштрассе или просто знакомых. В конце концов, церковная служба вносит какое-то разнообразие в монотонное течение моих грустных дней. На звон колоколов в коридоры и во двор выходят люди и быстрой походкой направляются в церковь. Неподвижные взоры трехсот женщин устремлены на алтарь. Тут же надзирательницы. Нет и следа подлинно молитвенного настроения. Хорал поют монотонно и плохо, слабо звучащий орган с трудом ведет его за собой. После каждого стиха следует продолжительная пауза, во время которой многие долго откашливаются. Среди этих женщин наверняка мало регулярных посетителей церкви. Здесь явно злоупотребляют истинной религиозностью, если она вообще есть. Поневоле вспоминаешь сборы, устраиваемые национал-социалистами. Позднее вместо креста на алтарь будет водружен бюст Гитлера.

Пастор перелистывает Библию, молитвенно складывает руки и глядит вверх на потолок. Так спокойнее, не надо смотреть в лицо действительности. Теперь настал момент, который некоторые женщины считают подходящим, чтобы показать, насколько они потрясены, и громко зарыдать. При этом они не забывают одним глазом посматривать на надзирательницу, зафиксировала ли та столь явно продемонстрированное ими раскаяние. Сзади до меня доносится шепот Агнессы, красивой, спокойной женщины, учительницы по профессии, товарища по партии. Она пытается что-то мне сообщить, но надзирательница тут же поднимает голову и строго смотрит на меня. Тем временем пастор начинает проповедь. Не хочу его слушать, это всегда одно и то же. На протяжении тысячелетий одни и те же проповеди, одинаковые поступки. Всегда совершается противоположное тому, что проповедуется. Но не хочу об этом думать. Через несколько дней я буду с Кетле. И этому я хочу радоваться.

Не могу выразить, как я рада. Я вся преобразилась. Уходя, хочу оставить здесь всю накопившуюся во мне горечь, всю боль души, все сомнения о будущем. Порой совсем забываю, что я еще здесь, так интенсивно все обдумываю. Мало-помалу дни кажутся столь короткими, что не вмещают моих планов и мечтаний.

За день до освобождения меня вызывают в контору. Два года я предвкушала радость этой минуты, два года представляла себе, как при этом буду себя держать. Мне официально сообщают об освобождении и в качестве напутствия преподнесут несколько золотых жизненных правил. Я буду сохранять ледяное спокойствие, дам почувствовать тюремным чиновникам и

надзирателям мое безграничное презрение. Но теперь, когда этот момент настал, мое сердце учащенно бьется от радости. Улыбаясь, переступаю порог комнаты.

— Ах так... да-да... — говорит, завидев меня, директор тюрьмы, разыскивая на письменном столе какой-то документ. Наконец он его находит и еще раз пробегает глазами. При этом, не глядя на меня, равнодушно говорит:

— Завтра вы поедете в Штутгарт.

Внезапно я почувствовала, что готова заплакать. Не знаю почему, но мне стало страшно.

— Я так или иначе собиралась в Штутгарт, — говорю я тихо. Теперь он смотрит на меня в упор.

— Не «так или иначе», — он несколько раздражен, — вас затребовало гестапо. Для пересмотра дела.

Я поражена в самое сердце. Не могу передать, что во мне происходит.

— Меня? — шепчу я, — для пересмотра? — Вероятно, так чувствует себя утопающий, потеряв надежду на помощь. — А как же, — запинаясь, бормочу я, — как с моим освобождением?

Директор пожимает плечами и еще раз заглядывает в бумаги. Потом смотрит на меня. Очевидно, в эту минуту я выгляжу очень несчастной, потому что он говорит несколько более дружелюбно:

— Возможно, это чистая формальность. Вот увидите...

Удивительно, что я не теряю сознания. Держусь на ногах, не падаю. Это уже чересчур. Чаша переполнена. Это сверх того, что в состоянии почувствовать человек. В душе пустота, я смертельно устала и бесконечно безразлична ко всему. Как лунатик бреду обратно в свою камеру. Требуется немало времени, чтобы прийти в себя, обдумать все происшедшее.

Итак, ничего не вышло с освобождением, ничего не вышло с Кетле, с новой счастливой жизнью. Что ж, ладно. Ну и пусть. Извольте. Для пересмотра. Только чистая формальность. Затребовало гестапо. Чистая формальность. Смешно, но смеяться я уже не в состоянии. Плакать тоже больше не могу. Могу только сидеть неподвижно, уставившись в пространство. Немного утешает мысль, что два года тюрьмы все-таки позади. Я цепляюсь за нее. Отсюда меня завтра выпустят, думаю я, значит, выдержу и другое. Противопоставляю одно другому — то, что уже перенесла, тому, что мне угрожает. Сомнительное, но все же утешение.

На другой день меня действительно привозят в Штутгарт, в «бюксенскую помойку». Как нарочно, именно в «бюксенскую помойку», с которой я начинала ровно два года назад. Попадаю в ту же камеру, что и два года назад. Здесь ничего не изменилось. Тогда я застала в ней двух женщин, такая же картина и сейчас.

Если это один из причудливых капризов судьбы, о которых так часто иногда говорят, что ж, спасибо и за это. Круг замыкается. Дверь камеры запирают. Итак, я на том же месте, где была два года назад.

— Теперь можно начинать все сначала, — говорю я вместо приветствия. Сперва обе женщины думают, что я здесь новичок. Усмехаясь, приглашаю их вместе отпраздновать мой юбилей. Они разевают рот и таращат от удивления глаза, услышав, что здесь я «стартовала» ровно два года назад. — Да, представьте, — говорю, — все время по кругу. Как на прогулке в тюремном дворе. Полагаешь, что далеко продвинулась вперед, а вместо конца пути оказываешься в самом его начале, в «бюксенской помойке».

Одна из женщин — политическая, жена рабочего-социал-демократа, который нелегально переправлял запрещенные газеты с швейцарской границы в Германию. Она помогала их распространять. Теперь оба арестованы и, как и я два года назад, ждут суда. Женщина на пятом месяце беременности. Другая — уголовница, бывшая проститутка, без умолку рассказывает о своей жизни.

Спустя восемь дней меня отвозят в гестапо. Якобы для пересмотра дела. Молодой человек в штатском презрительно поглядывает на меня, коротко и недружелюбно объявляет, что завтра меня отправляют в Торгау. «Торгау?» — думаю я.

— В концлагерь, — говорит молодой человек и лаконично добавляет: — Сами знаете почему...

Конечно, знаю, сама могла бы рассказать об этом молодому человеку, могла бы досконально ему это разъяснить, во всех деталях, могла бы даже объяснить ему, почему перед ним, желторотым юнцом и незрелым олухом, я стою как жалкое ничтожество. Этот одетый с иголочки, франтоватый хлыщ, явно чувствующий себя неотразимым в сверхэлегантном, на его взгляд, костюме, приобретенном в магазине готового платья, еще ничему не научился и полностью лишен жизненного опыта. Но в эту минуту я целиком в его власти. Ему достаточно взять в руки перо и вписать несколько слов в лежащий перед ним сопроводительный документ, чтобы мне в лагере были обеспечены соответствующий прием и надлежащее обращение.

— Почему вы молчите? — внезапно кричит он, глупо и недоверчиво пяля на меня глаза.

С каким наслаждением я влепила бы пощечину в эту мерзкую рожу!

— Прекратите вашу идиотскую игру в молчанку, — продолжает он кричать, — и подтвердите, наконец, что вы все поняли!

Да, я поняла. Теперь, действительно, все начнется с самого начала. Сейчас Кетле и родители ждут меня дома. И ты будешь думать, что я уже дома. Пока ни о чем не хочу тебе писать. Я окончательно застряла в этой проклятой мясорубке. В концлагере нет и намека на законность, которой они могли бы перед кем-нибудь кичиться. В обычном перитоните больше проглядывается перст судьбы, чем в моих двух годах одиночного тюремного заключения. Ударившая с неба молния может не задеть тебя, но может и уничтожить. Это судьба. В мою судьбу никакой бог не вмешивался, за него это сделало гестапо. Мы знали, что представляют собой нацисты, и предостерегали от них. Мы должны были быть более ловкими, хитрее, изворотливее. Не правда ли? Какие все-таки забавные мысли приходят в голову. Иногда это именуют своего рода тюремным психозом или больной фантазией.

Завтра нас отправят по этапу. Правда, в наглухо закрытых железнодорожных вагонах. Но для меня после двухгодичного топтания на одном пятачке это нечто неслыханное. Ты только подумай: путешествие по железной дороге. Путешествие!

Мы едем по маршруту Штутгарт — Брухзаль — Мангейм — Франкфурт — Фульда — Эйзенах — Эрфурт — Галле — Лейпциг — Торгау. Путешествие сквозь безысходное горе. Особый мир. Страшный, сто раз проклятый, полный отчаяния, особый мир. Знакомлюсь с многочисленными домами заключения и тюрьмами, древними каменными темницами и современными тюрьмами, похожими на казармы. Всюду одно и то же: решетки на окнах, стальные, лязгающие и дребезжащие двери, злобные, коварные, властолюбивые, бесчувственные надзирательницы. И редко — человек. И заключенные, эти достойные сожаления создания, отмеченные печатью страха, горя, болезней, отчаяния и мук.

Порой мне кажется, что больше не смогу вынести даже вида этого бесконечного человеческого горя. Кое к чему, видит бог, я уже привыкла. Но наблюдать такое скопление ужаса и жестокости выше сил человеческих. В беспокойных, тревожно блуждающих глазах я читаю страдание и подкарауливающую ненависть. Никак не могу понять, как вплотную с таким горем надзирательницы в коридорах могут болтать и смеяться. Как вообще можно себе представить, чтобы женщина избрала для себя подобную профессию? А ведь среди них нередки и особенно старательные. В мягкой обуви они бесшумно скользят по коридорам,

подсматривают в глазок и внимательно прислушиваются.

Особая радость для них — доложить по начальству о малейшем нарушении тюремного режима, обнаружить которое, учитывая обилие инструкций и запретов, совсем нетрудно. Мне довелось повидать множество надзирательниц, и среди них было очень мало сохранивших человеческий облик. Что-то здесь должно быть крайне не в порядке, но что именно? Не думаю, чтобы это объяснялось отсутствием мужа, детей или иного, что заполняет жизнь. Дело, пожалуй, в том, что в них отсутствует человечность, следовательно, отсутствует все. Большинство из них набожно, но весьма своеобразно. Мне кажется, они прячутся за господ бога, так как собственная низость вызывает у них страх. Всевышний понадобился им для того, чтобы можно было возложить на него ответственность за всю несправедливость и все горе, в которых повинны они и подобные им. Они отлично понимают, что несчастными судьбами, которым они обязаны своей преуспевающей служебной карьерой, вершат не на небесах, а на земле, в залах суда, а также, с их помощью, в тюремных камерах. Тем не менее, воздевая к небесам в молитвенном экстазе руки, они ссылаются на провидение не только для успокоения своей совести обывателя, но и для того, чтобы убедить других: во всем повинен некто другой, там, на небесах.

Наш эшелон, к счастью, нигде подолгу не задерживается. После трех, пяти, самое большее, восьми дней он движется дальше. Хорошо, что никаких правил внутреннего распорядка не соблюдается, находишься некоторым образом на положении пассажира. По-иному чувствуют себя и надзирательницы, мало уделяющие внимания своим подопечным. Это настоящее благодеяние.

Но во время путешествия мы встречаемся и со многими неприятностями. Отвратительны, например, вокзалы, вернее, публика на пути нашего следования, нацисты, ротозеи. На каждой станции они злобно, с бесстыдным любопытством пялят глаза на заключенных, которых доставляют на вокзал или увозят в арестантской машине. Большей частью это закованные в кандалы мужчины, политические, приговоренные к длительным срокам заключения или проходящие по какому-либо громкому процессу и готовые пойти на все, чтобы совершить смелый и рискованный побег, если представится случай. Явно привлекают внимание и заключенные женщины, на них сытый обыватель задерживает взгляд, в котором смешаны отвращение и похоть. Нас десять женщин и около тридцати мужчин. Разговаривать запрещается, нарушителям угрожают огнестрельным оружием. Женщины и мужчины содержатся порознь.

Во Франкфурте, когда настает моя очередь сесть в машину, чтобы ехать с вокзала в пересыльную тюрьму, оказывается, что машина уже переполнена. В эшелоне я единственная политическая, меня держат в отдалении от остальных и заставляют подолгу ждать отправки. Здесь же получилось так, что я должна ехать в одной машине с мужчинами. Меня помещают в изолированную крохотную кабину, где я кое-как могу поместиться. На высоте глаз решетка, куда может заглянуть контролирующее око. Так как продолжительное время машина еще стоит у вокзала, я могу слышать голоса беседующих в ней заключенных. Они говорят обо мне. Удивлены, что меня поместили к ним. Среди мужчин имеются политические, даже коммунисты. Некоторые следуют из концлагеря Бухенвальд. Их везут на суд в Лейпциг. Внезапно речь заходит о Дахау. Я наэлектризована и слушаю, затаив дыхание. Выясняется, что действительно некоторых переводят из разных мест в концлагерь Дахау. Поразительная удача. Я могу передать тебе привет. Прижимаю губы к разделяющей нас железной стенке, к дыре от случайно выпавшей заклепки и говорю приглушенным голосом. Сообщаю, что меня везут в Торгау и спрашиваю, не нужно ли там передать весточку кому-либо из заключенных. Прошу передать в Дахау привет тебе. Они тебя не знают, но постараются разыскать. Они сообщат тебе, что я здорова, не теряю бодрости, в связи с отправкой в Торгау также не падаю духом. Из-за Торгау уж меньше всего, уверяю я. Они должны сказать тебе, что нет никаких оснований тревожиться обо мне, самое тяжелое теперь позади и что я очень надеюсь на скорую и радостную встречу.

«Хорошо» — слышу в ответ. Тут же машина отходит. А мне хотелось так много тебе передать. И все же мной владеет радостное чувство. Они расскажут тебе обо мне, что я в бодром настроении духа. Тебя это утешит и обрадует.

В этот вечер я попадаю в большую камеру для пересыльных, в ней от двадцати пяти до тридцати шумливых женщин, всех их куда-то переводят. Помещение разделено решетками на клетки, в каждой из них одна или две койки. Очень похоже на клетки для львов или обезьяний питомник. Эта сама по себе гротескная декорация в полумраке выглядит еще более фантастичной.

Обилие нахлынувших на меня новых впечатлений смущает, сбивает с толку. За длительное время пребывания в одиночке я отвыкла от такого непрерывного движения и шума. Женщины громко переговариваются через решетки, что-то сообщают друг другу, делятся впечатлениями о тюрьмах и лагерях, где им довелось побывать. Надзор здесь, видимо, не очень строгий. В то время как в других отделениях надзирательницы носятся, как

ошпаренные кошки, подслушивая каждое, даже шепотом сказанное слово, здесь можно, не стесняясь, громко разговаривать. Правда, как я потом узнала, не всегда, а в так называемые пересыльные дни, когда прибывают и отправляются дальше по этапу партии заключенных. Внезапно чувствую себя очень одиноко среди всего этого неестественного, лихорадочного оживления. Ужасно видеть вокруг себя людей только за решеткой. И ведь все это люди!

Женщины, исхудавшие за время длительного тюремного заключения, с глубоко запавшими глазами и бледными лицами. Возможно, точно так же выгляжу и я; к сожалению, у меня нет зеркала, чтобы убедиться в этом, остались только завернутые в тряпочку зубная щетка да крохотный кусочек мыла, они всегда у меня в руке. Это единственное, что не позволяет мне опуститься. Волосы мои отросли и спутались. Хорошо, что они сами закручиваются, иначе я выглядела бы еще более неряшливо. Хотя на мне снова кофта, юбка и пальто, они на мне как на вешалке. Пальто я должна носить, как плед, запахнув полы и придерживая их рукой. Переставить пуговицы не могу, так как иголки, ниток и ножниц у меня нет. Приятно пахнувшей пудреницы я тоже лишилась, ее отобрала надзирательница.

Внезапно из угла доносится громкий хохот. Там на вульгарнейшем жаргоне проститутки рассказывают анекдоты и по-своему веселятся. Рядом на нарах верующие — женщины средних лет, старушки и совсем молоденькие девушки, едва вышедшие из школьного возраста. Кажется, они не видят и не слышат ничего происходящего вокруг. Не знаю, куда устремлен их взор — внутрь себя или в бесконечную даль. Знаю только, что они принадлежат к тем немногим в Германии, которые даже всесильным «богам» из партии нацистов и гестапо бесстрашно говорят в лицо то, что думают. Что они против войны, что мнить о себе как о божестве, как делает это Гитлер, — кощунство и преступление. Они твердо придерживаются своей веры и за нее готовы идти в тюрьму и на смерть. Стараются избегать любых ссор между собой и другими заключенными. Оскорбления и грубое обращение воспринимают безропотно, относясь к ним как к испытанию, которому их подвергает бог, обидчикам своим отвечают мрачными пророчествами, произнося их холодно и невозмутимо. Поведение их более чем удивительно, оно потрясает, но, оно не от мира сего, оно не для этого мира, оно ветхозаветно.

Ночью у меня повышается температура. Возможно, из-за большого возбуждения сдали нервы. Одолевают страшные сновидения. Одна картина с быстротой молнии сменяется другой,

то ли призраки из преисподней, то ли средневековые пляски смерти. Неизменными остаются лишь проклятые клетки. Адский хоровод дьявольских масок и гроыхающих скелетов, несущийся с бешеной скоростью, с криком и воем врывается в мою клетку. В ужасе я вскрикиваю, хватаюсь за прутья решетки, но убежать никуда не могу. Просыпаюсь полумертвая, в холодном поту. И, конечно, в клетке.

Мы по-прежнему в клетках. Чувствую себя отвратительно. Следуя по этапу, безмерно от всего устала — и от бессонной ночи, и от того, что не удастся нормально вымыться, что неряшливо выгляжу и растерянна. Лишена всякой возможности привести себя в порядок. В помещении чертовски грязно. На стенах темные пятна — следы клопов. Параши издают зловоние. По соседству с клетками караульное помещение дежурных надзирателей, бледных от бессонной ночи и в плохом настроении. О нас они говорят только как о проститутках. Всех находящихся здесь делят на две категории — преступников и тех, которые ими не являются. Только они не преступники, и только надзирательницы не проститутки.

Здесь остерегаются претендовать на самые элементарные человеческие права. Никому не придет в голову сумасбродная здесь мысль — попросить воды для умывания. Покорно молчат, когда господин надзиратель или госпожа надзирательница брюзжат, что не обязательно ходить в туалет. Горе заключенному, потребовавшему человеческого обращения. Интеллигентному узнику очень быстро дают понять, что режим, основанный на насилии, не признает права жаловаться. Как в прусской армии. Тот, кто шумит, требует к себе уважения, бунтует, того истязают, избивают до смерти или расстреливают. Ибо он пытается сотрясать основы.

И тем не менее находятся такие, кто жалуется. Они или бесстрашны от природы, или новички, или устали от такой жизни. Конечно, директор знает их имена, ибо уже надзиратель объявляет их жалобы злонамеренной ложью заведомых ворчунов, всем недовольных. Таким людям не отделаться единственным наказанием за допущенную вольность. За поданную жалобу им придется горько расплачиваться годами. Это очень скоро понимаешь, если у тебя открыты глаза и уши. Но пройдет довольно много времени, пока испытаешь всю гамму восприятия — от яростного, бессильного гнева до терпеливой покорности. Лишь немногим удастся достичь той степени «просветления», которая помогает им невозмутимо переносить бессмысленную тиранию.

Очень радуюсь, когда на следующий день мы отправились

дальше. Задержись мы в клетке подольше, наверное, сошла бы с ума. Мы прибываем в Галле, где для отправки в концлагерь готовится большой состав. Потребовалось семь дней, чтобы собрать женщин, сгоняемых сюда для этой цели со всех концов рейха.

В Галле я совсем разболелась. Снова начинаются обмороки. Ничего не могу есть, мучают желудочные колики. О горячем чае нечего думать. Молодой надзиратель, которого прошу об этом, обещает сделать все возможное, но не может достать ни чая, ни горячей воды. Однако, говорит он нерешительно, вместо этого он принесет расческу. Смотрю на него, не находя слов. О расческе мечтаю с давних пор. Можно было бы расчесать свалявшиеся в клубок волосы. Какое это невообразимое счастье.

— Без обмана, — говорит молодой надзиратель и неприятно улыбается: но за это я должна уступить ему клочок волос. Мне кажется, я неверно его поняла.

— Клок волос? — спрашиваю озадаченно. Он кивает. Станный парень. Почему бы нет, думаю я. И тут же вырываю пучок волос.

— Нет, — говорит он с ухмылкой, — не эти, другие.

Боли в желудке становятся нестерпимыми. Но получить расческу так заманчиво.

— Вечером, — говорю я тихо.

Вечером, когда он приносит в камеру кофе, передаю ему обещанное. К обеду следующего дня мы имеем расческу и можем по очереди причесываться. Когда разносят пищу, я не подхожу к двери, чтобы этого парня больше не видеть. Но расческа — прелесть.

На этот раз в нашей камере уже нет клеток, это обычное тюремное помещение на несколько коек. Здесь мы пробудем несколько дней. Напоследок к нам вселяют еще трех женщин-евреек, кроме того, одну политическую и двух проституток. Политическая, ее зовут Карола Шпрингер, на самом деле не политическая. С политикой она не имеет ничего общего, ей просто очень не повезло. К нам она ворвалась вне себя, стремительно, как ракета, ревет, неистовствует и бушует, всех нас сводит с ума. Лишь постепенно мы узнаем ее поистине глупую историю.

Она работала официанткой кафе в Мюнхене. Как-то один из посетителей, с которым до этого она и знакома-то не была, пригласил ее в ресторан. Со своим кавалером она провела приятный вечер. Было много народу, тесновато, но уютно. За столом сидели милые люди, пили хорошее вино, развязавшее языки, много шутили, у всех было прекрасное настроение. И

кавалер ее оказался весьма приятным собеседником, щедрым, влюбленным, очаровательным, остроумным, казалось, оправдываются все связанные с ним ожидания. Он говорил охотно и много, пил также охотно и много, становясь все более порывистым и пылким, но не именно к ней, а вообще, причем без видимых на то оснований. Очевидно, это был австриец, так как потом он стал ворчать и сильно ругать нацистских мошенников и их коварную политику аншлюса, откровенно выразив надежду, что его бедные австрийские земляки, ставшие жертвой агрессии, скоро прозреют. Он пришел в такой раж от собственных речей, так ими упивался, что другим сидевшим за столом оставалось лишь слушать. Один из них встал и вышел, чего все прочие, замороженные тем, как страшно бранил он третий рейх, даже не заметили. Ей это тоже не бросилось в глаза. Но кавалер ее, очевидно, заметил это, так как внезапно смолк, поднялся со своего места и, бросив ей ласковое «минуточку, дорогая!», исчез. Она осталась, пребывая в радостном ожидании. Минутка весьма затянулась, а потом возвратился сосед по столу, но не один, и не с австрийцем, а с эсэсовцем, пришедшим, чтобы арестовать ее кавалера. Однако от него остались только шляпа и плащ. «Но дама его здесь», — не преминул заметить сосед, только что охотно пивший за здоровье ее спутника. Хотя и с небольшим скандалом и некоторыми усилиями, которые пришлось приложить эсэсовцу для ее ареста, ее доставили в гестапо и предложили назвать имя друга. Бурно протестуя, она объясняла господам, что имя его ей неизвестно, но господа не поверили. Она клялась небом и адом, что этого человека совершенно не знает, только сегодня вечером с ним познакомилась в кафе, но господа ее только высмеяли. Ей придется, сказали они, несколько месяцев провести в концлагере, где, несомненно, она все вспомнит.

И вот теперь она на пути в концлагерь и взывает к нам о помощи, молит подсказать, что ей делать, чтобы выбраться отсюда. Прежде всего, говорим мы, ей необходимо вести себя иначе. Но об этом она и слышать не хочет. За те два часа, что она здесь, мы совсем оглохли. Успокоилась она только тогда, когда мы пригрозили ее избить. Не хочется верить, что она так и не выйдет отсюда. Как я потом узнала, ее постиг печальный конец. Год просидела в концлагере Лихтенбург, а позднее в лагере Равенсбрюк ее забили насмерть за строптивость.

Волнение в нашей камере не стихает. Обе проститутки целый день болтают, они настроены миролюбиво и дружелюбно. С профессиональной деловитостью обмениваются опытом, подобно двум целеустремленным коллегам, для которых их профессия

превыше всего. Когда к их болтовне прислушиваются, они начинают хвастаться и привирать. Я постепенно начинаю в известной мере разбираться в некоторых особенностях их профессии. Обе они далеко не первого сорта, это видно, хотя желают казаться именно такими. У одной под простеньким летним дешевым платьем колышется пышный бюст. Другая несколько моложе и лучше выглядит, она и в камере не снимает с головы сооружение из фетра, странной формы и подержанного вида, которое окружающие должны, по-видимому, принимать за шляпку. Она рассказывает драматическую историю своей жизни, историю, уже виденную в кино и потому знакомую. Это история бесстыдного соблазнителя, родительского проклятия и благородного кавалера, которого она называет сегодня Фрицем, завтра Карлом. Трогательная, вызывающая слезы история, которую она заканчивает заученной улыбкой и словами: «И в самом деле, почему бы мне не дарить любовь!» О том, что она дарит не любовь, а жалкую подделку, и то, что эту подделку она не дарит, а по твердо установленной таксе продает за наличные, об этом она умалчивает.

Мы сидим в углу камеры на полу — Марианна Корн, молодая последовательница библейского вероучения, я, две проститутки — и пускаем по кругу мою расческу. Мы старательно причесываемся и с большим удовольствием ощущаем, что наши волосы уже не такие свалывшиеся и грязные, как прежде. Особа, только что рассказывавшая нам сказки про свою жизнь, снимает забавную шляпку, чтобы принять участие в нашем празднестве — расчесывании волос. В ее душе, по-видимому, еще продолжают звучать отголоски только что рассказанной истории, так как в дополнение она утверждает, что дома у своих жен мужчины не могут обрести настоящей любви.

— Многие мужья, — считает она необходимым разъяснить, — даже потеряли представление о том, как это делается.

Я возражаю. Говорю, что ее представление о любви крайне поверхностно и неправильно. То, что она имеет в виду, не настоящая любовь. Сиюминутное удовлетворение элементарного физиологического желания никогда не было любовью, настоящая любовь идет от сердца и обнимает собой всю жизнь, а не только момент быстро проходящей страсти. Суть настоящей любви, говорю я, в верности, и она включает в себя не только чувство, но прежде всего добрую волю, твердость и самообладание.

Мои слова звучат, может быть, несколько по-книжному, и произношу я их слишком пылко, но я сильно волнуюсь, так как во мне протестует оскорбленная в своих чувствах любящая женщина. Возможно, то, что я говорю, покажется высокопарным, но таково

мое отношение к браку, таковы мои взгляды. Любовь — это верность, союз, предначертанный судьбой, нарушить и разорвать который не может даже самая длительная разлука. Как часто бывали мы надолго разлучены и все-таки не расстались, даже если порой, неоднократно из упрямства, которое тоже было не чем иным, как своеобразным проявлением любви, шли каждый собственным путем. Совершая эти маленькие обходные пути, неизменно приводившие нас друг к другу, мы потом каждый раз горько раскаивались, и любовь наша становилась еще сердечнее и душевнее. Невозможно жить врозь, если действительно любишь. Видишь, я в это верю и нахожу в этом утешение.

В последний день нашего следования по этапу я в камере железнодорожного вагона остаюсь наедине с юной последовательницей библейского вероучения Марианной Корн. Мы беседуем о боге и мире, на этот раз в подлинном смысле слова — о боге и мире. Кроткая девушка защищает свою веру с пылким фанатизмом взрослого, убежденного в своей правоте.

— За счет чего, — спрашивает она, — ваши слуги Христовы живут в наслаждениях и удовольствиях? Только за счет фанатической глупости верующих обывателей.

— И нищеты бедняков, — добавляю я и вынуждена вспомнить при этом моего тюремного пастора. — Однако все слуги Христовы живут за счет нужды и страха, растерянности и глупости людей, кем бы они ни были — благополучными чиновниками или фанатиками, служителями церкви или сторонниками библейского вероучения, благословляют ли они полковые знамена, пулеметы и огнеметы или же проклинают войну.

— Мы не служители церкви и не фанатики, — отвечает она, — мы живем, строго руководствуясь Библией.

— С помощью Библии, — продолжаю я развивать свою мысль, — можно оправдать любую жизненную позицию, любой поступок, в Библии для любой ситуации можно найти подходящую цитату, оправдывающую и разрешающую все что угодно — праведную жизнь, расторжение брака, присвоение чужого добра. Интерпретации и комментарии библейских текстов самые различные, в одном случае они утверждают одно, в другом — иное, выбирай то, что в зависимости от обстоятельств тебе сейчас выгоднее всего.

Знаю, Марианне слушать это неприятно. Но во мне задета чувствительная струна. Не могу иначе, я должна была когда-нибудь излить всю накопившуюся в моем сердце горечь.

Знает ли она, спрашиваю, хоть одного человека, живущего по заветам Христа? Нет. Итак, что же получается? Вы отказываетесь от службы в армии, хорошо. Устранил ли это царящее в мире

горе? Нет. За что же вы погибаете в концлагерях, за человечество или за Иегову? Конечно, за Иегову. Не за голодающих детей, а за Библию. Вы точь-в-точь как древние мученики...

— Ты тоже жертвуешь собой, — говорит она.

— Безусловно, но не ради господ бога и не ради Иеговы, а ради людей. Мы хотим убедить их в том, что можно создать на земле жизнь, достойную всех, а не только избранных. Мы боремся за такую убежденность и за это в случае необходимости готовы умереть. Но не ради всевышнего. Этот может помочь себе сам. Он мог бы помочь и нам, если бы пожелал. Но не желает. Только изрекает разного рода благочестивые проповеди. Кажется, он оказался в затруднительном положении, наш дорогой господь бог.

— Не богохульствуй, — серьезно, с отсутствующим взглядом говорит Марианна, — Иегова — наше спасение.

— Ничего себе спасение... — говорю я.

— Сейчас время борьбы с антихристом, — пророчески продолжает Марианна, — и Иегова победит.

— Не победит, — возражаю я, — о какой победе может идти речь, когда он преспокойно ожидает очередной войны, которую наверняка развяжут нацисты, и мир снова увидит «священную войну», войну «за высшую честь родины», а «высшая честь родины» освятит все, что необходимо для войны. Погибать на войне будет народ. Почему этого хочет Иегова, твой бог?

— Ты веришь в то, что будет война? — спрашивает она подавленно.

— Верю? Я ее вижу, слышу, чувствую ее каждой клеточкой своего существа. Не только теперь, уже давно. Потому я борюсь, потому и отправлена теперь в концлагерь. Пока что они свирепствуют внутри страны, в подвалах гестапо и концентрационных лагерях убивают своих соотечественников, но, если владеющая ими мания величия, разнузданная ненависть и жажда крови однажды вырвутся наружу — а это произойдет тогда, когда они будут обладать достаточной, с их точки зрения, силой, — в мире прольется океан слез. Не видят этого только ограниченные обыватели, они не видят даже тех ужасов, которые совершаются у них на глазах, они видят лишь себя. Но придет день, Марианна, и глаза у них откроются, они прозреют, наступит день расплаты, за все будет отомщено, можешь не сомневаться, и месть эта окажется страшной, с Иеговой или без него, в тот момент это будет совершенно безразлично!

Мой гнев понятен, и Марианна на меня не сердится. Говорит только:

— Жаль, что ты неверующая.

— Да, я неверующая и быть верующей вовсе не хочу. Мне важнее двумя ногами стоять на земле и здесь бороться за достойную жизнь. Если бы так поступал каждый, мир выглядел бы по-иному.

— Ты всегда думаешь лишь об этом мире.

— У меня есть все основания для этого, и тебе следовало бы заботиться о более реальном, близком. Духовная акробатика нам в будущем не поможет. Мы должны теперь точно знать, чего мы хотим — жить или умереть. Если об этом не помнить, то учти: в концлагерях очень быстро отправляют на тот свет!

Тем временем Марианна подпорола подкладку пальто и вынула маленький листок религиозного содержания.

— На, прочти! — говорит она и сует мне бумажку, — тогда будешь думать по-другому.

Я просмотрела текст, и мне стало не по себе.

— Марианна, — говорю я серьезно, — здесь может быть написано все что угодно, пусть даже правда, но выбрось немедленно этот листок, прошу тебя! Он не стоит того, чтобы тебя сразу же бросили в темный карцер.

— Я хочу, чтобы содержание листка узнали и другие.

— Тогда выучи наизусть и потом рассказывай его содержание, но сейчас немедленно выбрось это прочь! Так будет лучше для тебя и для других. Ты не имеешь права подвергать опасности товарищей. Это право дано только Иегове. Да еще эсэсовцам.

В Торгау эсэсовцы встречают нас с револьверами наготове и отрывистым лаем команд, Подгоняют к грузовикам. Загоняют туда, как скот. Мы четыре недели были в пути, устали, истощены, в этой партии одни женщины. Одни только женщины. Но эсэсовцам на это наплевать. Эсэсовцы лишены стыда. Они носят перчатки, обязательные для СС перчатки из серой замши. И здесь, в Торгау, как и везде. Может быть, это сделано для того, чтобы не замарать рук, творящих грязные дела. Может быть, хотят показать нам, насколько они высококультурны. Они культурны, так как носят перчатки. До чего замечательно. Руки убийц в перчатках. Я вижу лишь эти перчатки. Они кажутся мне более гнусными и отталкивающими, чем окровавленные руки убийц.

Нас привозят в Лихтенбург — старый форт в Торгау, средневековую громадную крепость с многочисленными башнями, обширными дворами, мрачными подземельями и бесконечными залами, внушающее страх испанское здание с мощными стенами, не светлая крепость^[5], а идеальный концлагерь. Из Готтесцелль в Лихтенбург, как в легенде о Граале^[6], думаю я.

Нас выстраивают во внутреннем дворе. Тридцать женщин — политические, еврейки, последовательницы библейского вероучения и уголовные преступницы, проститутки. Надзирательницы-эсэсовки окружают нас, как серые волки. Я впервые вижу этот новый, идеальный тип немецкой женщины. У одних пустые, у других свирепые лица, но у каждой одна и та же вульгарная складка у рта. Они шагают взад и вперед большими шагами в серых развевающихся накидках, на весь двор гулко звучат их команды, огромные овчарки, которых они держат на поводке, стремительно и угрожающе рвутся вперед. Женщины эти неправдоподобны, внушают страх, напоминают о мрачных легендах, безжалостны и, наверно, много опаснее свирепых эсэсовских палачей, ибо они женщины. Женщины? Сомневаюсь в этом. Это могут быть лишь существа, существа с серыми псами и всеми инстинктами, коварством и дикостью своих псов. Это чудовища.

По булыжной мостовой нас ведут в комендатуру. Там на черной доске вывешены приказы и правила, которые мы должны твердо усвоить. Длинный список запретов, распорядок дня, законы бесчеловечности. Нам не дают времени все это внимательно прочесть, мы не успеваем запомнить многочисленные правила, нам непонятны приведенные в тексте сокращения, принятые в нацистском жаргоне. Этим стервам в серых накидках придется на практике вдабливать в нас все действующие здесь предписания и запреты.

Прежде всего нас выстраивают в две шеренги перед зданием комендатуры. Комендант лагеря хочет — нет, не приветствовать, это не то слово. И не взглянуть на нас. Смотреть на нас совсем неинтересно. Он хочет показать нам, в чьих руках здесь власть. Он всевластен над нами. Его брюхо обтягивает коричневая форма штурмовика, хлыстом в жирной правой руке он со свистом рассекает воздух, сапоги скрипят. Одна из волчиц что-то кричит, старшая надзирательница отдает рапорт, и этот субъект обходит фронт, фронт горя и страданий, его фронт. Справа и немного сзади идет старшая надзирательница, за ней, соблюдая дистанцию, размашистым шагом следуют две волчицы с овчарками. Это комендант лагеря Кегель. Тогда его имя мне ничего не говорило. Потом оно стало для меня символом чудовищного насилия. Тогда я еще не знала, что это тот самый Кёгель, который в Дахау велел отстегать тебя плетью, мой дорогой супруг. Узнала об этом позднее. Благодаря этому чудовищу я узнала также, что такое ненависть, ненависть не только моя, ненависть тысяч людей. Обо всем этом я буду знать потом. Но сейчас, хотя и полна возмущения и отвращения, еще

могу спокойно взирать на то, как он разглядывает нас, слегка касается хлыстом и, злобно ворча, распределяет по отделениям.

Я попадаю в пятое отделение, так называемое отделение избранных, где содержатся политические. Евреек помещают в седьмое, последовательниц библейского вероучения — в третье отделение, проститутки следуют в тюремные камеры. Тот, кто не попал ни в одно из отделений, впоследствии направляется туда, где имеются свободные места. В пятом отделении содержатся политические — члены компартии, социал-демократы, антифашисты всех направлений. Многие, как и я, уже долгие годы провели в тюрьме и теперь подлежат «проверке». На самом деле нас должны просто незаметно уничтожить. Таковы планы гестапо. Но сейчас я не хочу думать об этом. Радуюсь, что кончилось мое одиночество и я могу находиться среди людей, моих единомышленников.

Правда, мне сразу становится ясно, что здесь дуют иные ветры, пронизывающие и опасные. Здесь все другое, новое, все значительно сложнее, чем в тюрьме. Но мне везет. В отделении встречаю Труды Гессман, которая находилась в одно время со мной в штутгартской следственной тюрьме, где наши камеры были рядом. Тогда мы едва могли обмолвиться словом, но переговаривались с помощью морзянки и виделись на прогулке в тюремном дворе. Теперь здороваемся как старые добрые друзья, знающие друг друга всю жизнь. Моя неуверенность тотчас же исчезает, у меня есть человек, который здесь хорошо ориентируется, и на него я могу полностью положиться.

Труды находится в пятом отделении уже несколько недель, днем работает писарем на медицинском пункте. Поскольку через медпункт пропускаются все вновь прибывшие, она узнает многие новости. Наибольший интерес представляют, естественно, сообщения о, возможно, предстоящей амнистии, но они весьма скудны.

Нас, новичков, тоже направляют на врачебное обследование в медпункт. О враче я кое-что знаю со слов Труды. Она называет его молокососом с Курфюрстендам^[7]. Впрочем, я бы дала ему другое прозвище. Он не врач. Он не просто молод, это зеленый юнец, расфранченная обезьяна, не только заносчив, как думает Труды, но невероятно глуп. Несколько национал-социалистских медсестер в кокетливых коричневых наколках, всячески выслуживаясь, вертятся вокруг этого бездельничающего негодяя, тут же несколько подхалимничающих заключенных.

Вместе с Каролой Шпрингер вхожу в комнату, где производится обследование. Она первой беспрекословно взбирается на гинекологическое кресло и кладет ноги на

металлические опоры. Но господин доктор занят, в оконной нише он флиртует с сестрой, словно, кроме них, в комнате никого нет. Так проходит четверть часа. Я стою здесь же и вся горю от гнева и стыда. Для меня непостижимо, как Шпрингер может столько времени лежать, не двигаясь. На ее месте я бы уже давно встала с этого проклятого кресла и, наверное, находилась бы уже не в этой комнате, а в темном карцере. Вообще я держу себя в руках, но здесь восстала бы против столь наглого презрения к достоинству женщины. Наконец так называемый врач соблаговолит заняться нами. Разумеется, он спешит и быстро нас спрашивает.

Меня посылают работать в огороде, и я очень рада этому. Два года я была лишена воздуха и солнечного света. Теперь целыми днями буду на воздухе. Разве это не свобода, хотя бы только наполовину?

Однако очень скоро понимаю, что радость моя преждевременна. Меня включают в группу из сорока женщин-заключенных для работы в огороде. Прежде всего мы должны вскопать под огород пустырь, пашню и площадку, поросшую травой. Концлагерь должен себя окупать. В пять утра подъем, умывание, завтрак. Все очень быстро, как в армии. В половине седьмого на работу, в двенадцать — обед. С часу до семи вечера снова работа, потом еда, умывание и сон. Таков режим летом, то есть в лучшее время года. Потом условия становятся настолько тяжелыми, что вынести их может только человек железного здоровья. Мне уже сейчас тяжело. К вечеру совсем разбита. Норма одинаковая для крепких и слабых. От нас требуют производительности, какую может дать только сильный, хорошо питающийся рабочий. Иногда я не в состоянии даже выпрямиться, настолько устала.

И в нашей группе есть, конечно, отдельные заключенные, большей частью из уголовников, которые подлизываются к надзирательницам, пытаются втереться в доверие к ним. Таким легче. Некоторым из них удается выслужиться. Это наихудшие. Чтобы получить хорошую аттестацию или даже добиться досрочного освобождения, они стараются всячески допекать нас. Никто не придерется так, как они, ни одна надзирательница так язвительно и злорадно не крикнет: «Эй ты, хилый подонок!», как они, товарищи по несчастью, сами битые и исхлестанные.

Многие заключенные, попавшие в концлагерь не за свои политические убеждения, работают как звери и в огороде, и в швейной мастерской, и на кухне, и в любом другом месте. Они лишены гордости и покорны как собаки. На поверке, когда серая волчица проходит со своей овчаркой вдоль фронта и благосклонным взором выделяет из выстроившихся перед ней

рабские душонки, лица их сияют от счастья. К сожалению, таких много. Заключение избегают их, с ними необходимо быть крайне осторожными, они опасны. Они чувствуют, что их отторгли от всей массы заключенных. Именно потому, что они — полное ничтожество, они пытаются как-то помочь себе, доносами на товарищей улучшить свое существование. Они ощущают презрение других и по-своему подло мстят. Они продажны, коварны и полны ненависти. Но это и повышает цену их в глазах комендатуры лагеря. Их очень удобно использовать, ибо они инстинктивные враги порядочных людей, могут более отхлестать плетью, так как совсем недавно истязали их самих. Порой складываются крайне напряженные ситуации, переходящие в жестокую борьбу за жизнь. Достаточно лишь одного доноса, чтобы так напакостить человеку, что ему редко удастся выкарабкаться из создавшегося тяжелого положения.

Поэтому и другие заключенные в отношениях между собой вынуждены соблюдать крайнюю осторожность и скрытность. Проходят месяцы, пока люди проникаются доверием друг к другу. Так, я долго не решалась откровенно беседовать с Теой Хаген, членом социал-демократической партии из Нюрнберга. Между тем она оказалась самым лучшим товарищем из встреченных мною за всю мою жизнь. Ее муж тоже арестован. Она очень страдает, так как дома осталась ее старая, больная мать. Теа — наша староста. Она отвечает за порядок в помещении, распределение людей на уборку, раздачу еды и за все, что относится к соблюдению установленного в лагере режима. Это тяжелая, ответственная работа, требующая умения разбираться в людях, дипломатии и гибкости. В отношениях между заключенными и без того достаточно разных трений и мелкой ревности. И все это надо сглаживать, ликвидировать недоразумения и между заключенными, и между ними и лагерным персоналом. Надо суметь предупредить донос, забрать у надзирательницы уже написанную жалобу и терпеливо переносить взбучку за то, что заключенные небрежно выполняют свою работу. Староста отвечает за все возможные неприятности, должна скрывать чужие проступки. И за все это к ней порой враждебно относятся ее же товарищи, обвиняющие в пристрастности, предательстве, в том, что она заодно с надзирательницей. Иногда она даже не может защититься от этих обвинений, особенно когда надзирательница сознательно хочет вбить клин между ней и ее товарищами по несчастью и делает вид, будто Теа с ней заодно. Между тем в действительности Теа всегда самоотверженно нас защищает.

Хуже всего визиты-проверки вышестоящего начальства,

точнее, дни, этому предшествующие. Бесконечно все моется, чистится и скоблится. Градом сыплются наказания за малейшее нарушение. Складка на простыне, столовая ложка, не оказавшаяся строго на своем месте в шкафу, — все может быть поводом для грубой брани. Кто бы из начальства ни приехал, всегда разыгрывается один и тот же спектакль. Рывком настежь распахивается дверь, все вскакивают, «высокий гость» входит, здоровается веселым возгласом, надзирательницы излучают восторг, гость благосклонно смотрит куда-то мимо нас, потом, обращаясь к Кёгелю, изрекает какую-нибудь глупость, вроде: «прекрасное помещение» или «вижу, все вполне здоровы». Кёгель, разумеется, с радостью подтверждает это и вторично заверяет, что все трудности будут преодолены, в чем гость никогда, конечно, не сомневается, вслед за чем, бросив энергичное «хайль Гитлер», направляется к выходу. Свита почтительно отходит в сторону, освобождая место для прохода, сверхусердные руки услужливо распахивают дверь, гость удаляется.

Однажды здесь побывал даже Гиммлер, пожелавший взглянуть на свое детище — ультрасовременное немецкое «воспитательное заведение». Внешность у него самая заурадная, этого сатану в образе человека мы представляли другим, но он в хорошем настроении, много смеется и отдает даже распоряжение об освобождении нескольких заключенных — знак благоволения кровавого деспота, пребывающего в хорошем расположении духа.

Удостаивает нас визитом и госпожа Шольц-Клинк, возглавляющая в рейхе «женское движение». Она тоже весела, ласкова, полна восторга и рада тому, что наши дела так хороши. К нам и к нашему положению она относится по-особому, «с чисто женским пониманием», а если ей поверить, она нам почти завидует. Правда, в темный карцер не заходит и не присутствует, когда нас стегают плетью. Это ее, вероятно, не очень интересует, хотя как то, так и другое относится к существенным методам воспитания в этом современном немецком учреждении. Комендант лагеря заверяет и ее, что все трудности будут преодолены. Мы стоим тут же и слушаем с неподвижными лицами, ни одна не выйдет вперед и не скажет: нет, неправда, при первом же доносе нас зверски избивают, голыми швыряют на деревянную скамью, и надзирательница Мандель^[8] истязает заключенную собачьей плеткой до тех пор, пока у нее самой хватает сил. Ни одна из нас не выйдет вперед и не скажет этого. Ибо каждая хочет жить...

Ах, дорогой мой муж, я всегда полагала, что после двухлетнего пребывания в одиночке меня в этом мире ничто уже не устроит. Но я ошибалась. Я испытываю панический страх

перед телесными наказаниями, плетью, темным карцером, где так быстро и легко умирают от «нарушения кровообращения», боюсь вселяющих ужас застенков, где гестаповцы допрашивают заключенных. Допросы первой, второй и третьей степени. Чего только нет в этом аду! Страх — уже источник мучений, тебя терзает мысль, что однажды это произойдет. Совершенно немыслимо провести здесь годы без того, чтобы с тобой не приключилось какого-нибудь несчастья. Оно произойдет. Однажды это случится. В результате доноса твоего «товарища», либо по воле надзирательницы, либо потому, что неправильно были завязаны шнурки на ботинках, либо ты плохо работала, либо подобрала в свинарнике картофелину или хлебную корку, либо наступил один из тех безумных дней, когда ты забываешь, что ты ничтожество, всего лишь горсть пыли, и громко во всеуслышание выкрикиваешь правду. Но такой день пока еще не наступил. Мы тихо стоим и слушаем, как шеф «женского движения» германского рейха хвалит за прекрасное помещение, чистоту, дисциплину заключенных, слушаем жирный голос коменданта лагеря, которому это льстит, он смеется и бодро заверяет, что все трудности будут преодолены. Это тот самый комендант, который сам берет в руки плеть, когда у него появляется такое желание, чтобы избавить от чрезмерной нагрузки крайне переутомленную надзирательницу Мандель.

В один из дней освобождают Теа. Совершенно неожиданно. Я рада за нее. Выйти отсюда — все равно что обрести вторую жизнь.

Старостой у нас теперь Дорис Маазе, коммунистка, находившаяся в подполье. Вначале ей нелегко. Надзирательница нашего отделения — отвратительный тип, недоверчива, тщеславна и пристрастна. Хочет, чтобы ее почитали и боялись, пресмыкались перед ней. Кто не делает этого добровольно, того она заставляет. Кого хочет, казнит, кого милует. Кто сопротивляется ей, уничтожает. Зависит от собственного каприза, симпатии или антипатии. Того, кто имел несчастье ей не понравиться, спасти почти невозможно, а если это иногда и удастся, то только благодаря гениальной дипломатии нашей Дорис. Она нам очень помогает.

Когда мы медленным шагом неуклюже ковыляем на работу, выглядим так, будто закованы в цепи. Тащимся, как рабы, тяжело и согнувшись. Вдруг одна из заключенных начинает кашлять кровью. Пытается скрыть это: известно, что в больничной камере можно через четыре дня стать мертвецом. Она не хочет умереть от «нарушения кровообращения». Ей все хуже, она почти не держится на ногах. Однажды ночью, лежа на койке, истекает кровью. Еще жива, но это конец. Дорис, врач по профессии, всю

ночь не отходит от нее, а к утру закрывает ей глаза. Но мы так переутомлены, что крепко спим, несмотря на раздававшиеся всю ночь стоны. Рано утром, проснувшись, обнаруживаем среди нас труп. Лицо Дорис мертвенно-белое и несчастное, передник весь пропитан кровью.

Я потрясена, однако не смертью, а внезапным пониманием того, что эта трагедия нас почти не трогает. Неужели, думаю, мы тоже стали настолько холодными и равнодушными, что человеческая жизнь уже ничто не значит для нас? Я изумлена, но ничего не могу поделать, эта смерть не взволновала меня до глубины души. Оставляет она равнодушными и других. Смотрю на каждую из женщин, в их глазах читаю страх, от постоянной тревоги лица их огрубели. Женщины выглядят удрученными и переутомленными, перенесенные страдания их не облагородили. Осунулись, одряхлели. Могу себе представить, что ощущение чужого горя уже не находит больше места в этих сердцах, настолько полны они собственными страданиями. Эта мысль печалит меня больше, чем смерть товарища.

Но здесь нельзя предаваться мыслям, ни печальным, ни радостным. Тебя всегда подгоняют, ты всегда ко всему готова, всегда в обороне, в состоянии постоянной психической тревоги. Может быть, это хорошо, может быть, только так и можно вынести ненадежность этого существования в концлагере, абсолютное бесправие, полную незащитность и ужасающее одиночество.

Не приносят большого утешения и получаемые письма. Что можно написать в ответ? Сберегите для меня мой маленький мирок, я возвращусь когда-то — можно ли так писать? Нет. Возможно, вероятно, мы никогда больше не увидимся, «нарушения кровообращения» здесь таковы, что уцелеть удастся лишь чудом — можно об этом писать? Нет. Так о чем же писать? Иногда письма от тебя жду три недели, иногда шесть. И что в письме? Я все еще в Дахау, пишешь ты, здоров, все в порядке, не беспокойся. Если письмо большое, нежное, в нем прибавлены слова: увидимся, если будешь стойко держаться.

Родители пишут чаще и подробнее. Кетле шлет очень милые записочки. Они трогают до слез, но плакать я не могу. Свои первые письма отцу и матери она шлет в тюрьму. Кто мог себе представить это когда-то? Возможно, будущее готовит еще более невообразимые потрясения. После всего, что было, весьма на это похоже.

Дорис разрешено получать газету. Мы буквально рвем ее из рук. Читаем не то, что в ней написано, а то, чего в пей нет. Еще не отзывало «ликование» в Австрии по поводу аншлюса, а население Судетской области уже мечтает, оказывается, о том,

чтобы очутиться в лоне третьего рейха.

Однажды вечером, когда до смерти усталые и изнуренные мы едва добираемся до коек, нас выгоняют во двор. Германская армия вступила в Судетскую область. Предстоит радиопередача массового собрания. Предписано коллективное прослушивание. Будет выступать фюрер.

Уже темно, когда охваченные необъяснимой тревогой, мы устремляемся во двор. Собаки серых волчиц берут нас в кольцо. Мы ждем и дрожим от холода и от чего-то страшного, угрожающего. Постепенно двор заполняет темная, беспокойная движущаяся масса. Зычные отрывистые команды перекрывают глухой шум толпы. Закончено построение отделений. Чувствуется, что всеми владеет неопишемое волнение, сдерживаемое только страхом. Волнение это почти осязаемо. Все в растерянности и полны ужаса. Никто в сущности не знает, что произошло. Германская армия вступила в Судеты. Означает ли это войну? На какое-то мгновение для проверки включают громкоговоритель. Оглушающий звук старого прусского марша, ударяясь о стены, угасает. Наступившая после этого полная тишина вдвойне тревожна.

И вдруг среди гробовой тишины громко прозвучали чьи-то слова: «Будет война!» Это сигнал. Его передают дальше. Он пробегает, как искра, воспламеняет, летит по рядам, взрывает строй колонн, вносит хаос, сеет в толпе панику. Во все возрастающем шуме последовательницы библейского вероучения начинают истово цитировать библейские изречения против войны. В ответ раздается хриплый смех. Его заглушают крики. Страх прорывается наружу. Теперь уже ничто не сдерживает людей. Толпа колышется и бурлит, она похожа на страшное чудовище, которое в отчаянии от собственного бессилия выплескивает наружу всю накопившуюся в нем ненависть.

И тогда наступает развязка. Развевающиеся серые накидки врываются в толпу, натравливают на людей разъяренных псов, плетьюми и резиновыми дубинками наносят без разбора жестокие удары. Вижу женщин, обезумевших от воя и укусов собак. Это открытый бунт. Сторонники библейской веры падают на колени и молятся. Всеобщий шум и громкие крики заглушают их взволнованный хор. Внезапно среди нас оказываются эсэсовцы. Свирепыми ударами они прокладывают себе дорогу в людской толпе, разворачивают пожарные шланги и толстыми струями воды сбивают людей с ног. Как сваленные деревья, вода смывает людей с больших каменных ступеней вниз, они падают и вновь поднимаются, издавая дикие крики, шатаются, в смертельном страхе крепко цепляются друг за друга. Серые волчицы, словно в

них вселился дьявол, обрушивают жестокие удары, псы, уже вкусившие человеческой крови, свирепо набрасываются на людей, и от них невозможно освободиться.

Это ужасно. Труди Гессман со мной, мы крепко держимся друг за друга и изо всех сил сопротивляемся тому, чтобы нас разъединили, бросили на землю и затоптали.

Эту ночь я не забуду никогда.

Она дорого нам обошлась. Градом сыплются наказания, всякого рода придирки, мы лишены права писать и получать письма. Сокращен рацион питания. Несколько женщин отправляют в темный карцер, откуда они не возвращаются.

Итак, «нарушения кровообращения» учащаются.

Иногда мы спрашиваем себя, неужели там, на свободе, никто не помнит о нас? Почему не слышно ни одного громкого голоса протеста против того, что здесь творится? Должны же как-то постепенно просачиваться наружу хоть какие-то сведения обо всем, что у нас происходит. И не только у нас — во всех лагерях. Неужели все, кто вышел отсюда, хранят молчание? Или обыватель не желает их слушать? Или их не слушают потому, что нация так безмерно опьянена победой?

Фюрер еще раз оказался прав. Судетская область «возвращена родине». Без войны. С благословения многих политиков мира. Что же тогда удивляться, что верят фюреру, а не выпущенным на свободу заключенным концлагерей? Если эти политики не протестуют против аннексии чужих стран, как могут они возражать по поводу того, что истязают ка-кую-то бедную женщину, — возможно, как раз за то, что она выступает против этой аннексии? Как вообще может протестовать мир, если в самой Германии не слышно голоса, выступающего против царящего там террора? И может ли в Германии прозвучать громкий голос протеста против бесчеловечного режима, получившего одобрение многих политиков мира?

— Нет смысла, Дорис, — говорю я, — фюрер всегда прав, мы — бедные ничтожества, всеми покинутые, бедные ничтожества.

Мы с Дорис часто вместе, хорошо понимаем друг друга, мы опора и поддержка друг другу. Правда, бывают дни, когда находишься в таком отчаянии, что не хочется видеть и лучшую свою подругу, даже ненавидишь ее, когда кажется, что она не только не понимает тебя, но предает; когда считаешь ее слабой, трусливой, подхалимкой только потому, что она, может быть, именно в этот день получила письмо из дома или вообще сегодня в лучшем настроении, не до краев наполнена ненавистью, как это сейчас происходит с тобой. Так откуда же могут знать те, кто вне стен тюрьмы, что здесь творится и в каком мы положении?

Инструкция гласит, что родственникам заключенных запрещено обращаться к администрации лагеря с какими-либо заявлениями или ходатайствами. Заключенные, говорится в инструкции, могут сами возбуждать ходатайства об освобождении. Это ложь. Администрация принимает только доносы, никаких ходатайств. Родственники, конечно, об этом не знают. Поэтому постепенно у них складывается мнение, что узник концлагеря только лишь из упрямства не прилагает усилий к тому, чтобы добиться освобождения. Письма заключенным полны горьких упреков, увещаний, уговоров одуматься. Таким образом, по мнению родственников, заключенные поступают неправильно, выглядят неисправимыми.

Знают ли об этом те, кто на свободе?

Для того, чтобы тебя бросили в карцер, даже не требуется доноса, вполне достаточно малейшего замечания или недовольства надзирательницы. Не следует, однако, думать, что здесь у нас нет законов. Таковыми являются настроения коменданта лагеря, его приказы. Отдавая их, он орет на весь двор. У него револьвер и власть над жизнью и смертью людей. Он орет, и все должны стремглав бросаться выполнять его указания, все — надзирательницы — серые волчицы, собаки и мы. Он во дворе обходит фронт страха и горя, и на него с ненавистью взирают сотни глаз. Он прямо-таки окружен ореолом ненависти. Мне даже кажется порой, что эта ненависть необходима ему как воздух.

В пасхальное воскресенье он собственноручно стегает плетью трех женщин. Среди них товарищ по партии Штеффи. Она красива, интеллигентна, хороший товарищ. Своему другу, еврею, она помогла уехать за границу. Вскоре после побоев она умирает. Пережить такое она не могла. Так комендант лагеря Лихтенбург отмечает пасхальный праздник. Трех распростертых перед ним обнаженных женщин он стегает плетью, пока у него хватает сил. Поверит ли этому кто-нибудь там, по ту сторону тюремных стен? Предположим, найдется один, кто поверит и даже расскажет об этом еще кому-либо, но гестапо достаточно шевельнуть пальцем, чтобы тот немедленно начисто все забыл, словно никогда и ничего об этом не слышал. Что я говорю?! Гестапо пошевелить пальцем — не требуется и этого, достаточно самой легкой угрозы, намек — и люди молчат. И не только молчат. Ликут, маршируют, доносят, шеренгами выстроились за фюрером — так как этого желает фюрер. Угрозы. На них основано его управление государством, его внешняя, его внутренняя политика. Угрозы и страх, жестокость и трусость — таковы основы, фундамент его государства. Угрожает нам, угрожает нами — как того потребуют

обстоятельства. Угрожает мелкий чиновник уголовной полиции, угрожает фюрер. Так они добиваются своего. Угрозы — своего рода обруч, крепко стягивающий народ. Обруч? Цепи. Они должны быть страшными, жестокими, иначе как можно ими угрожать? За каждой угрозой концлагерь, бездна подлости, преступления, тягчайших обвинений. Обыватели чувствуют это. Этого достаточно. Слишком много знать о подобных вещах — опасно. Надо вызывать не возмущение, а страх. И он налицо.

Мы можем на худой конец понять, что люди запуганы. Непонятно, почему так много оказалось садистов. Действительно ли это садисты, преступники, убийцы по сути своей? Я в это не верю, не верит и Дорис. Они — обыватели. Но волею обстоятельств они оказались не в финансовом управлении, а в полиции, не писарями магистрата, мясниками, канцеляристами, строительными рабочими или служащими загса, а чиновниками гестапо или эсэсовцами. Они не отличают добро от зла, а делают то, что им приказано. Им не приказано отличать добро от зла, право от бесправия, им приказано искоренять, истреблять врагов государства. Они делают это с той же тупой педантичностью, с тем же немецким усердием и с той же немецкой основательностью, с какой обычно проверяли налоговые декларации, пли писали протоколы, или закалывали свиней. С профессиональным усердием, добросовестно и серьезно стегаяют они плетьюми привязанных к скамье беззащитных женщин, будучи глубоко убежденными в том, что тем самым служат государству и своему фюреру. Решающее значение здесь имеет типично немецкое сознание своего долга, перерастающее в нечто гротескное, дьявольское. Потому-то у них на поясной бляхе выбито: «Моя честь — верность».

Я видела лютые сердца и страшных людей, в которых звериная жестокость могла сочетаться со склонностью к трогательному умилению, и людей, внешне казавшихся безобидными, наивными и простодушными, а на деле — усердных палачей. Ведь факт, что Гитлер, прибегая к отвратительным методам угроз и запугивания, вербовал своих сторонников и помощников не из асоциальных, а из мелкобуржуазных элементов. Таким образом, это не садисты по природе своей, не профессиональные преступники или отъявленные убийцы, а обыватели. Как и другие. Тот же «организаторский талант», который в стране бравурными маршами и витаминозными таблетками намеревается повысить уровень здравоохранения, здесь в лагере гонит вверх кривую смертности. Почти каждое утро в темной камере обнаруживают мертвеца. Считается, что его «обнаруживают», хотя уже заранее

заклученные, работающие в помещении, забирают из камеры одежду несчастной, которая в эту ночь обречена на смерть. Голые, с переломанными костями, окровавленные, лежат на цементном полу мертвые женщины. Иные пытались забиться под нары или укрыться под столом от смертельных ударов. Скрюченные, истерзанные, окоченевшие, некогда имевшие имя, мужа, детей, родной дом, лежат они здесь с непостижимо застывшим взглядом. Темные камеры с их безумными ужасами — сущий ад. Это конец света.

Всем им, безымянным, — слава. Тысячу раз слава.

Ах, мой дорогой муж, к чему я все это здесь тебе рассказываю... Ты ведь знаешь, как обстоят дела, теперь это знаю и я. Надо крепко стиснуть зубы, чтобы не завывать. Сколько еще людей будет до смерти замучено, умрет от голода и холода, забито насмерть на деревянной скамье или в темной камере.

...Рут, Инга, Ильза, Ева, Фрида, Йетта, Лора, молодые, цветущие, любящие и любимые, хорошие и добрые люди. Ирма подарила Дорис на прощание свое обручальное кольцо. Бруно Линднер, наш дорогой друг, которого партия отозвала из Швейцарии, теперь в Маутхаузене. Что будет с ним? А с нами?

Не знаем. Знаем только, что извне нам нечего ждать какой-либо помощи. Уверенный в себе обыватель с удовлетворением читает в «*Volkischer Beobachter*», что создание концлагерей есть величайшее из всех времен достижение в области воспитания и что в этих современнейших воспитательных учреждениях антиобщественные элементы немецкого народа перековываются в полезную составную часть нации. Что сказал эсэсовец пожилой полной еврейке, когда часть заключенных нашего лагеря угоняли недавно в Равенсбрюк? «Из вашего жира, — сказал он, — вполне можно будет вытопить полцентнера мыла!»

«Перековать в полезную часть нации», — пишет некий журналист в «*Volkischer Beobachter*». Этот веселый шутник заверяет, что коменданты лагерей и эсэсовцы — самые современные и терпеливые воспитатели. Что лагеря с их светлыми и чистыми бараками, душевными и дисциплинированными заключенными — подлинно образцовые школы народного воспитания. Здесь очень редко, пишет «*Volkischer Beobachter*», можно услышать жалобу заключенного.

Это верно. Мертвые молчат. Молчат и мертвые, и те, кто пока еще живы. Молчат, ибо жалоба означает заточение в темный карцер. Работают, ибо отказ от работы, как и отказ от нее из-за недомогания, влечет за собой тот же результат. И как заведенные механизмы тащатся заключенные на работу, бредут, как призраки, тупо уставившись перед собой. У ослабевшего тела уже

нет сил, измученная душа теряет всякую сопротивляемость. Самое большее, на что мы способны, — это затеять жестокую драку из-за покрытой плесенью корки хлеба или гнилой картофелины. В этих условиях даже для последовательниц библейского вероучения завет Иеговы «возлюби ближнего как самого себя» теряет всякое значение. Выходит, такова человеческая природа?

Тем не менее мы надеемся, Дорис и я.

— Допустим, — спрашиваю я, — ты, Дорис, выйдешь отсюда раньше, хватит ли у тебя смелости подать в Берлине ходатайство обо мне? Несмотря на то, что это запрещено?

Такого рода вопросы мы задаем друг другу, строим различные планы, предаемся мечтам, рассчитывая на искреннюю, верную дружбу... Цепляемся за соломинку надежды...

В лагере свирепствует дизентерия. Неудивительно. Мы босиком на лютom морозе грузим уголь. Кое-как доплетаемся до барачков. Лежим все пластом. И я, конечно. Чертовски не везет. В организме все разладилось. Часты обмороки. Мне даже завидуют. Но к врачу не хочет обращаться никто. Знаем, он скажет: «Что, дизентерия?! Оставались бы за стенами, мы вас не звали!»

Спустя несколько дней начинаю понемногу ходить. Но так как я все еще едва держусь на ногах и для работы снаружи не гожусь, мне приказано работать в комендатуре. Писарем. Там я должна составлять списки вновь прибывших. Смотрю на новеньких. В глазах их читаю страх. Однако не могу ни утешить, ни посоветовать, как им себя вести. В помещении полно эсэсовцев из караула, некоторые развалились на стульях, нарах или за письменными столами, смеются собственным глупым островам. Невозможно представить, насколько бессодержательна и пошла их болтовня. Иногда мною овладевает такое уныние и чувство безысходности, что нервы не выдерживают. Сажу и реву. Именно в те минуты, когда эсэсовцы в своей идиотской шутиливой манере говорят о заключенных. И тут же перемежая «остротами», решают человеческую судьбу. Просто от скуки. В большинстве случаев речь идет о женщинах, которые либо уже сидят в темной камере, либо должны быть туда брошены. Так, о какой-либо заключенной можно вдруг услышать: эта завтра отдаст концы.

Но чаще всего они говорят совсем о другом. О смертных приговорах. О приговорах, вынесенных матерям, чьи сыновья запряганы в специальные заведения или у родственников-нацистов. Этим юношам нацепили форму гитлерюгенда — молодежной организации фашистской Германии, их воспитывают в духе безграничной преданности фюреру.

Завтра отдаст концы! Пошлые островам. Смертные приговоры,

не подлежащие обжалованию. «Моя честь — верность». Когда вечером рассказываю об этом Дорис, мы задыхаемся от ярости, хотя и понимаем, насколько это бессмысленно, и шепчем самые какие ни на есть отвратительные ругательства: свиньи проклятые... дерьмо собачье... Если молчать, можно задохнуться.

Эти дьяволы лишены всяких человеческих чувств. Допустим, но неужели, спрашиваем мы себя, в них не осталось ни капли совести? Разве нет в человеке врожденного и достаточно сильного чувства страха перед возмездием за совершенные им преступления? В человеке — да. Но это не люди. Горе тому, кто покажет здесь, что у него есть нечто, хотя бы отдаленно похожее на совесть. Комендант лагеря собственными руками прикончит его. Каждого, включая серых волчиц.

Вместе с тем здесь имеется своего рода попечительница. Правда, «печется» она не о нас, а о книгах. Она ведаёт библиотекой. У нее нет собаки. Нет, разумеется, и сердца. В стенах библиотеки влачит она тупое, бесполезное существование. Ей доставляет, по-видимому, удовольствие атмосфера смерти и гибели, горя и страданий. Меня временно выделили ей в помощь для заполнения библиотечных формуляров. Никогда в жизни не встречала я более брюзгливого, тусклого, буквально покрытого плесенью чинушу. Педантично подчеркивая разделяющую нас дистанцию, она постоянно избегает прямого обращения ко мне. Среди тех, кто работает здесь, заключенная я одна. «Надо заполнить вот этот формуляр...» — говорит она с кислой миной, не устаивая меня взглядом. Я говорю «да», «слушаюсь».

В то время, когда я выполняю задание, распахивается дверь и входит Кёгель, всемогущий Кёгель, собственной персоной. Все молниеносно вскакивают со своих мест и вытягиваются по стойке «смирно». Как на плацу. Моя начальница замирает, как безжизненная мумия. Я тоже стою, держа руки по швам. Комендант лагеря осматривается, замечает и меня. Моя «попечительница» тут же рапортует, что я прислана сюда ей в помощь.

— Только на сегодня, — добавляет она, как бы извиняясь.

— Фамилия? — он не спрашивает, а рычит.

— Хааг.

— Мгновение он глядит настороженно, — потом, пристально на меня посмотрев, спрашивает:

— Ваш муж в Дахау?

— Да.

— Так-так, — говорит он мрачно, — в таком случае я его знаю! — И потом с удовлетворением, громко хвастаясь и как бы обращаясь ко всем: — Двадцать пять плетей велел дать парню,

чтобы не разучился петь!

Не знаю, как выгляжу в тот момент. Передо мной красная, надменная, издевающаяся рожа. Больше не вижу ничего.

— Как давно здесь?

— Двенадцать месяцев.

— Так. За что?

Мгновение я колеблюсь.

— Конечно, политическая?

— Да.

— Ясно. Знаем это отродье.

Он щелкает нагайкой по ноге, собираясь уходить. Внезапно что-то взбрело ему в голову, он еще раз поворачивается в мою сторону.

— Поведение?

— Никаких жалоб, — рапортует надзирательница.

— Так, — говорит он, испытующе на меня поглядывая, и затем, уже направляясь к выходу, бросает самодовольно и величественно: — Что ж, пожалуй, можно освободить!

Я стою как пораженная громом. Вокруг меня все кружится, расплывается. «Пожалуй, можно освободить!» Это неслыханно. Страх, что слова эти брошены просто так, мимоходом, вырывает меня из состояния оцепенения. Вижу, он собирается уходить. Не могу допустить, чтобы он так ушел, чтобы сказанное им повисло в воздухе, чувствую, что через минуту он может забыть про свое обещание. В мозгу роятся тысячи мыслей. Не знаю, на чем остановиться. Страх и отчаяние подсказывают правильный путь.

— К сожалению, это невозможно! — вдруг выпаливаю я.

Он круто поворачивается:

— Что? — орет он, — что невозможно?

— Невозможно, чтобы вы меня отпустили.

Он озадаченно смотрит на меня. Теперь его лицо уже не красного, а синего цвета.

— Потому что штутгартское гестапо, — торопливо говорю я, — этому воспрепятствует. А оно ведь более высокая инстанция.

— Что?! — Он вне себя от ярости: я осмелилась унижить его перед подчиненными, предположив, что он всего лишь низшая инстанция! — Те, в Штутгарте! Более высокая инстанция! Слыхали что-нибудь подобное! Что представляют собой те, в Штутгарте, ха-ха?!

Столь бурно выразив свое возмущение, он удаляется, бросив на прощание: — Мы еще посмотрим!

На этот раз он действительно ушел. С грохотом захлопывается дверь. Моя попечительница дрожит, как осиновый лист. Злобно посматривает на меня.

— Теперь-то уж вам достанется! — язвит она. От страха она уже обращается прямо ко мне: — Своей наглостью вы меня компрометируете, — вопит она, — меня обвинят в недопустимой мягкости, если бы я могла такое предвидеть, я бы от вас отказалась. Или донесла своевременно по начальству.

На ее желтом лице выступили красные пятна, так она взволнована. Но мне все равно. Я заполняю формуляры.

— До чего же хитрющая плутовка! — восхищается Дорис, когда вечером я обо всем ей рассказываю. Но это была вовсе не хитрость, это был страх, острое ощущение всего происходящего в данную минуту, но, пожалуй, и рассудок, действовавший совершенно самостоятельно, руководивший мною правильный инстинкт. «Мы еще посмотрим!» Как многообещающе это звучит!

Эту ночь я почти не сплю.

Вскоре действительно начинают поговаривать об амнистии. Об этом говорят даже надзирательницы. Приближается день рождения Гитлера, и в один из дней в канцелярии подготавливают документы тех, кого должны выпустить. В самом деле нескольким женщинам предстоит освобождение. Утверждают, что в списке значусь и я. Не могу этому поверить, на душе тревожно, но потом слухи подтверждаются, моя фамилия в списке. Радость моя неопишима. Двадцатого апреля всех амнистированных вызывают в комендатуру и на машине доставляют на вокзал. Но меня среди них нет.

— Возможно, они забыли о тебе, — утешает Дорис. Нет, не забыли. Ни здесь, ни в Штутгарте. Старшая надзирательница сказала, что штутгартское гестапо возражает против моего освобождения. Значит, оно все-таки настояло на своем. «Мы еще посмотрим!» — бахвалился всемогущий комендант. Те, в Штутгарте, все же оказались более высокой инстанцией.

Опять ничего не вышло. А я так надеялась. Кетле и родители были от меня уже так близко. На этот раз я совсем не сомневалась, что буду освобождена. Потому так тяжело переживаю постигший меня удар. Итак, снова все сначала. Как много разочарований я уже преодолела. На этот раз пришло самое тяжелое. А на улице весна.

Вскоре внезапно получаю приказание явиться в комендатуру. Ничего хорошего не жду. Дорис смотрит из окна мне вслед, когда я вместе с надзирательницей тяжелой походкой иду по двору. Я не должна оборачиваться. Идем прямо в логово льва. Ожидаем в небольшой приемной. Вокруг несколько скучающих вестовых. «Толстяк», комендант лагеря, в эту минуту разговаривает по телефону. Из его кабинета, этой «святой святых» лагеря, через дверь доносится его громкий голос. Вдруг слышу свою фамилию.

Затаила дыхание. Речь идет о штутгартском гестапо. Кёгель говорит с Берлином. Никаких сомнений, обо мне. Надзирательница с удивлением смотрит в мою сторону, когда вдруг я сажусь, не спросив на то разрешения. Хочет отчитать, но, увидев мое лицо, замолкает. «Ах, да, — только произносит она, — ну ладно».

— В порядке, — кричит «всемогущий» в своем кабинете, — хайль Гитлер! — И бросает телефонную трубку на рычаг. Затем рывком распахивается дверь, и комендант с нескрываемым торжеством оглядывает присутствующих. Я вскакиваю и стою неподвижно. Одному из писарей он приказывает немедленно подготовить мои документы. — И сегодня же можете отправляться! — бросает он мне.

Я должна крепко держаться за стул.

— А те, в Штутгарте, — спрашиваю, — не могут меня тут же снова арестовать?

— Ни черта они не могут! — кричит он, — здесь приказываю я, и Берлин подтвердил. Вы свободны и — баста!

— Так точно, — говорю я.

Он ухмыляется.

— Надеюсь, теперь вы поняли, что более высокая инстанция — это я?

Я киваю. Он возвращается в свой кабинет, захлопнув за собой дверь.

Мне приказано ждать здесь, в камеру уже не возвращаюсь, Дорис и других больше не вижу. Получаю свой узелок с бельем, документы и одежду. Близится вечер. Вместе с надзирательницей иду на вокзал, та берет билет, выходит со мной на перрон и, согласно инструкции, ждет, пока я войду в вагон и, увозя меня, тронется поезд. Я свободна.

Впервые за долгие годы я вновь сижу в поезде одна, без надзора, и весенним вечером еду в Лейпциг. Вагон полон пассажиров, они громко разговаривают, кажутся мне чужими, их одежда — праздничной, их поведение — подчеркнуто непринужденным и веселым. Они болтают и курят, смеются, читают или, скучая, смотрят в окно, в общем, ведут себя так, словно во всем мире нет ни нужды, ни чудес. Нет темных камер, Кёгеля, нет и проплывающих мимо цветущих деревьев. Я сижу у окна, не решаясь снять пальто или пройти в туалет. Забираюсь поглубже в угол, заслоняю лицо рукой, будто дремлю, настолько чужой чувствую себя здесь. Слышу разговоры пассажиров, все, что они мелют, — сущий вздор, не могу понять, как можно нести такую чушь. Напротив меня сидит молодой человек, военный, в парадной форме и свысока поглядывает па публику. Где живут

эти люди, если они могут так беззаботно болтать и так высокомерно поглядывать на окружающих? Знают ли они, что совсем недалеко отсюда женщин изо дня в день стегают плетью, а серые волчицы в развевающихся накидках натравливают собак на отчаявшихся людей? Неужели они ничего не слышали о Лихтенбурге, они ведь из этих мест! Ничего не знают о концлагерях и варварских преступлениях эсэсовцев? Если они ничего не знают, почему никто им об этом не скажет? Почему ничего не рассказываю им об этом я? Почему не кричу об этом, не вмешиваюсь в их дурацкую болтовню, не взорву спокойствие их ограниченных умов, безмятежность их пустых сердец? Я трус, я жалкий трус.

Боже мой, а почему бы и нет? Почему я должна поступать иначе? Я хочу жить. Хочу иметь подле себя мою Кетле, увидеть родителей, жить вместе с тобой. Очутившись дома, я тотчас же выеду в Берлин и сделаю все, чтобы вырвать тебя из лап гестапо до того, как ты погибнешь в каменных карьерах Маутхаузена. Весть о том, что с недавних пор ты в Маутхаузене, меня потрясла.

В Лейпциге у меня пересадка, и ночью несколько часов сижу в привокзальном буфете. Здесь полно людей, слишком много для меня. Впечатление, что они кричат, на самом деле просто разговаривают. И все же до чего странно и поразительно, что я могу здесь сидеть, разглядывать их, посматривать на большие часы, входить и выходить, прохаживаться туда и обратно, когда и сколько захочу. Нет ни собак, ни серых накидок, которые развеваются при размашистой ходьбе, и Кёгель не выкрикивает приказы. Сейчас приду к матери и съем целую буханку хлеба. Смогу съесть все, что стоит на столе. Я ведь знаю мать. «...Ешь, моя девочка, бедняжка моя», — скажет она. Тут же будет моя Кетле и снова, как прежде, прильнет, засыпая, ко мне, и мы сможем сказать друг другу все, что захотим. Не нужно больше произносить ругательства, чтобы не задохнуться, не шептать в одеяло, с трудом переводя дыхание: «Грязные, грязные, грязные свиньи!» Там, у родителей, это больше ни к чему. Как? Что я сказала? Больше ни к чему? Прошло всего несколько часов после моего ухода оттуда, и я все уже забыла? На меня смотрят глаза Дорис, и я, спрятав в ладони залитое слезами лицо, прошу у нее прощения, ночью в привокзальном буфете в Лейпциге.

Незадолго до прибытия поезда на мою станцию ко мне в вагоне подходит Карл Б. — ты знаешь его по нашим прежним, хорошим временам — и спрашивает:

— Неужели это ты? Все время смотрю на тебя, но не был уверен. Ты больна?

Мы медленно покидаем вокзал, углубляемся в город и

беседуем. У меня такие сильные боли в желудке, что я иду вся скрючившись.

Дверь открывает мать. В полумраке передней она тоже какое-то мгновение, нерешительно смотрит на меня, тоже не уверена, я ли это. Потом слезы. И Кетле. И отец. И накрытый матерью стол, и робкая, почтительная нежность Кетле, и сердечные слова отца. Есть я не могу. Не хочется и много разговаривать, все сидела бы, крепко обняв Кетле. Словно отсутствовала десять лет.

— Надеюсь, теперь ты научилась осторожности, — говорит отец.

Это не упрек.

— При этом режиме, — говорит он, — говорить правду нельзя. У нас становится все хуже.

Он желает мне только добра. Завтра хочет устроить мне свидание с Робертом Диттером, твоим лучшим товарищем, который длительное время находился с тобой в Дахау. Не так давно его выпустили. Нельзя ли, спрашиваю, повидаться с ним сегодня же?

— Вот видишь, — улыбаясь говорит отец, — ты все такая же. Всегда норовишь лбом прошибить стену. Нет, сегодня не получится. Совсем не необходимо, чтобы нас забрали всех троих.

Но он понимает мое нетерпение. Говорю ему, что хотела бы как можно скорее направиться в Берлин, чтобы там в гестапо добиться твоего освобождения.

— В таком случае ты должна быть особенно осторожной. Это будет чертовски трудно. И небезопасно. Поэтому я бы пока ничего не говорил матери. Она должна хоть несколько ночей поспать спокойно.

— Нет, маме я пока ничего не говорю. Сейчас ей. даже некогда посидеть с нами, хлопчет на кухне, варит и печет. Вижу, как она счастлива.

На следующий день я должна зарегистрироваться в гестапо. Иду с сильно бьющимся сердцем, так как мало верю в мирный исход дела. Но пытаться избежать этого посещения — бессмысленно. Ты все равно у них в руках.

— «Вам повезло, — говорит подтянутый, энергичный шеф гестапо, — от нас вы бы не вышли!

— Верю, — отвечаю спокойно.

— Как же все-таки, черт побери, вам удалось это проверить? Освобождены по указанию из Берлина! Невероятно!

— Я ничего не проворачивала. Меня просто освободили.

Он буквально пронзает меня взглядом, явно рассержен.

— Ну-с, а четырех лет вам достаточно? — кричит он.

— Разумеется.

— Надеюсь, — орет он, — а не то мы обеспечим вам повторный курс.

— Не доставляю ему желаемого удовольствия, не даю вовлечь себя в разговор, у меня не срывается с языка ни одного необдуманного слова. В конце концов он сдается. Гестапо моего родного города выпускает меня из своей пасти, как, почуяв охотника, бросает добычу хищный зверь.

— Тем не менее, — орет он, — вы обязаны ежедневно здесь отмечаться! Лично у меня! Понятно?.....

— Да,? — говорю я.

И меня отпускают.

Когда я благополучно возвращаюсь домой, мать облегченно вздыхает. Она боялась, что меня опять арестуют. Пока все обошлось. Теперь я действительно дома. Накрывая на стол, мать в свойственной ей оживленной и забавной манере рассказывает обо всем, что произошло за это время. Как чудесно, когда ты снова можешь смеяться. Всего три дня назад я была в тюрьме. Теперь сижу в уютном материнском доме и смотрю на ее добрые, умелые руки. Из кухни доносится аромат жаркого и булочек, солнце освещает расписанный цветами фарфор. Приходят из школы, издавая радостные возгласы, Кетле и Долле. Какой прекрасной может быть жизнь, думаю я. И снова я удивляюсь, как за это время выросла Кетле. Долле страшно недоволен, когда она зовет его дядей. Тем с большим удовольствием она называет его дядей. Вместе они довольно шумная компания. Потом приходит домой отец и с ним два других моих брата. Гудде худощав и бледен. Ханс женился, но очень любит поесть за материнским столом.

— Подай ближнему, и воздастся тебе, — монотонно, как пономарь, причитает этот хитрец, забирая с подноса шестой, и последний кусок пирога.

— Но не в этой жизни, — находчиво отвечает мать, — там, на небесах.

Тем не менее его аппетит всегда радует ее.

Сегодня у нас действительно праздник.

Во второй половине дня приходит Роберт Диттер, рассказывает мне о Дахау и о тебе.

Вероятно, о многом, о слишком многом он умалчивает, но и того, что он рассказывает, достаточно, чтобы, полный возмущения, восстал весь мир.

Меня посещает и наш старый партийный товарищ Густав Лахенмайер. В большой мере под его влиянием мы вступили тогда в члены Коммунистической партии Германии, он опытный политический боец и потому мог бы мне разъяснить, какова подлинная ситуация. Я хочу это знать не только ради себя, но и

ради тебя.

— Имеет ли смысл все это? — спрашиваю я. — Говорю не о себе, ты знаешь это, Густав, я пока еще живу. Но ведь за наше дело погибли тысячи и продолжают умирать. О них я спрашиваю.

— Погоди, — говорит он, — наступит день, и у народа откроются глаза.

— Вообще, продолжается ли борьба, — спрашиваю я, — или мы ждем, когда разразится война? Где же коммунисты?

— В концлагерях или здесь. Тот, кто здесь, обязан ежедневно являться в гестапо для контроля. У нас связаны руки.

— Несмотря на это, бороться необходимо. Необходимо бороться!

— Тогда почему бы не стать тебе сейчас у ворот одного из многих заводов здесь, в Гмюнде, и не кричать на весь город обо всем, что тебе довелось пережить за четыре года заключения? Тебя бы слышали сотни рабочих.

— Да, — говорю я, — а почему бы, собственно, этого не сделать?

— Да потому, что после первых же твоих слов тебя высмеют как истеричку, как сумасшедшую, ты знаешь это так же хорошо, как я. Тебя арестуют и этой же ночью на допросах забьют насмерть. Значит, это было бы безумием. Нет, так не пойдет. Мы должны выстоять, пока наступит нужный час.

— Это верно, — замечаю я, — вовсе не обязательно стоять у заводских ворот. Но полагаю, что делается мало, вообще делается слишком мало.

— Разумеется, необходимо постоянно вести пропагандистскую повседневную, кропотливую работу, убеждать отдельных людей. Это мы так или иначе делаем. Но твоя задача сейчас — как можно скорее выехать в Берлин, чтобы спасти твоего мужа. Он очень нужен партии...

Скоро я располагаю необходимой для поездки суммой денег. Однако гестапо запрещает мне выезд из города. Такое препятствие явилось для меня неожиданным, и я в полной растерянности. Сама судьба идет мне навстречу. Имперский военный суд вызывает меня в Берлин свидетелем защиты по давно забытому мной делу. Гестапо вынуждено разрешить поездку. Я еду.

И снова поезд идет мимо множества грязных домов с отвратительными железными балконами и развешанным на нем жалким тряпьем, мимо жилищ бедняков — летних лачуг, кое-как сколоченных из досок и кровельного картона, ярко раскрашенных, чтобы скрыть их убожество. Вижу улицы предместий с беспризорными детьми и голодными, роющимися в

отбросах собаками, каменные колодцы дворов, куда не заглядывает солнце, грязные шторы в темных каморках — оборотную сторону столицы рейха. Рейха, в котором, по уверению прессы, радио и кино, нет больше нужды и нищеты. Зато имеется здоровый народ, «сила через радость», прелестные особняки, светлые квартиры, молодые сияющие матери, здоровые ухоженные дети, счастливый народ и любимый фюрер. Картины серого, унылого убожества сопутствуют моему безрадостному въезду в этот город. Это действует на меня угнетающе. И вот я стою, второй раз в моей жизни, покинутая и без цели, в грандиозной каменной пустыне Берлина, в твердой решимости, вопреки строгому предписанию гестапо города Гмюида, оставаться здесь, пока не добьюсь твоего освобождения. Но теперь вопрос: куда направиться, где жить?

У твоей сестры я остановиться не могу, у продажных Альбертов не хочу, остается только Эмиль Диттер, хороший старый друг юности. Его радость искренна. Он прежний. Нельзя сказать, что гестапо совсем оставило его в покое, но в крупном центре легче прожить незамеченным, чем в маленьком провинциальном захолустье. Его жена трогательно заботлива и очень старается устроить меня в их же доме. Действительно, удастся снять маленькую пустую комнатку под крышей с крохотной кухней. Первую ночь сплю на полу, укрывшись взятым у Эмиля одеялом. Квартирную плату вношу вперед, у меня еще остается десять марок. На них я должна прожить две недели, пока не получу первые заработанные деньги. Не хочу больше одолжаться и просить займы у доброго Эмиля.

Биржа труда посылает меня на металлообрабатывающий завод. Сразу приступаю к работе. С семи утра до половины пятого я должна припаивать тонкие проволоочки к крохотным колбочкам. Полчаса на обед. Если за день сделаю тысячу штук, заработаю три марки. Первые два дня делаю по триста штук, через неделю тысячу. Через две недели получаю первую зарплату, она небольшая, но могу досыта поесть. На кончиках пальцев волдыри, особенно на большом, указательном и среднем. Они гноятся, заживают и снова нарываю, пока через несколько недель на пальцах не образуются мозоли, такие твердые, какие бывают, вероятно, у пехотинцев на подошвах ног. Работа нетрудная, но совсем неинтересная, однако благодаря ей я приобретаю право оставаться в Берлине. Все остальное не имеет значения.

Медленно свыкаюсь с новыми условиями жизни и наконец получаю возможность подумать о себе, вернее — о тебе. Чувствую, что действовать надо очень осмотрительно. Сначала ходатайствую об освобождении Дорис. Ее брат и сестра по-

товарищески помогают мне как-то обставить мое пустое жилище. У меня ни кровати, ни стола, ни стакана, ни чашки, ровным счетом ничего. Но постепенно появляется одно за другим, кое-что я покупаю, пока наконец не образуется та уютная обстановка, которую ты знаешь, мой дорогой. Конечно, не обходится без голодных дней, и часто, ничего не поев, ооченевшая от холода, я забираюсь под одеяло. Сваренного в воскресенье горшка горохового супа хватает мне до среды — это мой завтрак, обед и ужин. Самое трудное, когда вечерами, усталая, я возвращаюсь с работы домой и по многочисленным лестницам мрачного, огромного дома на Коммандантенштрассе поднимаюсь к себе наверх. Лестницам, кажется, не будет конца. Удушливая волна затхлых запахов и застоявшегося кухонного чада ударяет в лицо. Из-за дверей множества квартир явственно слышен голос нищеты — грубая перебранка, громкие крики детей.

Хуже всего чувствую себя после бесплодных хождений на поклон в здание на Принц-Альбрехтштрассе. Нет, нет, пойми меня правильно: я отнюдь не кланяюсь и не унижаюсь. Ты не должен думать, что там я пытаюсь пробудить жалость или, более того, обливаюсь горькими слезами. Господ из главного управления государственной безопасности это тронуло бы меньше всего. Для них чужие слезы — источник жизни. Слезы и кровь. Нет, если хочешь чего-нибудь добиться, надо придумать что-либо более действенное. Я составила себе детальный план и лишь тогда направляюсь к ним, когда у меня ясная голова, спокойно на сердце.

Там всегда одно и то же. Охрана меня уже знает. У окошечка заполняю анкету, всегда одни и те же неприятные вопросы, знаю их наизусть, ответы пишу быстро и уверенно. Так же привычно указываю, что прошу предоставить мне возможность изложить мою просьбу лично рейхсфюреру СС, хотя каждый раз, чтобы это написать, мне нужно преодолеть внутреннее сопротивление, ибо знаю, что просить об этом бессмысленно. У эсэсовцев эти строки уже не раз вызывали насмешливую улыбочку. Только вопрос анкеты «по какому делу?» меня каждый раз пугает. Яснее, нежели холодные пренебрежительные взгляды эсэсовцев, он говорит об очевидном безрассудстве задуманного мной плана.

Знаю — это безумие, но я должна так поступать, ибо я тебя люблю. Знаю, кто такой Гиммлер и что он собой представляет, что в рейхе он самый могущественный после фюрера, а я ничтожество, бедная, жалкая женщина, под надзором гестапо сейчас, а совсем недавно — из концлагеря, куда была брошена за «подготовку к государственной измене». Теперь, вопреки строгому запрету местного гестапо, — подсобная рабочая в

Берлине. Знаю, что иду в логово деспота и что достаточно пустяка, ничтожной случайности, неудачно сказанного слова — и я вновь окажусь в тюрьме, и на сей раз наверняка навсегда. Доставленных к Кёгелю стегают плетьюми и бросают в темный карцер, мне известно, какой обычно оказывается прием рецидивистам. Поэтому я зашила в бюстгальтер половинку бритвенного лезвия. Как видишь, я обо всем подумала. Знаю, в концлагерях содержатся сотни тысяч заключенных и часть из них еще жива только потому, что их так много; а непреклонные, как ты, существуют, пожалуй, только по недосмотру или потому, что некоторое время они еще нужны как рабочая сила. Обо всем этом я знаю. Знаю также, что вопрос об освобождении решает исключительно комендант лагеря. Возможно, это еще относится к компетенции местного гестапо, и господ из центрального гестапо, получив мое ходатайство, в лучшем случае будут удивлены, как это, невзирая на их столь основательную и усердную работу, в Германии все еще сохранились в живых члены КПГ и антифашисты.

Но они не будут заниматься моим делом, дом на Принц-Альбрехтштрассе не благотворительное заведение. Подобно тому как министерство пропаганды на Вильгельмплатц — генеральный штаб лжи и клеветы, центральное гестапо — генеральный штаб ужаса, террора и массового истребления. Старательные, холодные и ограниченные чиновники, скрытые за многочисленными дверями в покрытых ковриками коридорах, заняты более важными делами, чем забота о судьбе одного человека, они отвечают за рациональнейшую ликвидацию сотен тысяч, возможно, даже за многое другое, еще более ужасное. Данциг «стремится» воссоединиться с рейхом, на польской границе учащаются пограничные инциденты, по начертанному фюрером «триумфальному» пути марширует гордый германский вермахт, и известно, в каком направлении он марширует — к войне. Знаю, что весь мир, затаив дыхание, ждет, крайне напряженная обстановка чревата грозной опасностью, все учреждения и командные инстанции рейха лихорадочно работают. То же происходит и здесь, в фешенебельном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где размещен аппарат рейхсфюрера СС, где спешно должно быть организовано и подготовлено массовое истребление сотен тысяч, чтобы в переполненных концлагерях освободить место для новых сотен тысяч, которые не так будут воодушевлены развязанной Гитлером войной, как генералы, штабс-фельдфебели, гаулейтеры и военные промышленники Рейна и Рура. Знаю также, что для своего дерзкого ходатайства я не могла бы выбрать более неподходящее время, более опасного

момента, чем дни «тесного сплочения нации», и что в высшей степени безрассудно именно в этот момент просить об освобождении партийного активиста, коммуниста, который за семь лет заточения в лагере не выказал ни малейшей готовности хоть в какой-то мере признать существующий режим. И я знаю также, что в этих условиях мой образ действий может быть воспринят как дерзкая насмешка, если не хуже. В лучшем случае меня не захотят выслушать, а возможно, даже, не долго думая, как взбесившуюся жену коммуниста, арестуют и отправят обратно в Лихтенбург.

Если не произойдет чуда.

И чудо произошло. Меня впускают, по коридору, покрытому ковром, ведут в комнату, где эсэсовец, молодцевато щелкнув каблуками, докладывает обо мне могущественному чиновнику центрального управления государственной безопасности. Конечно, не Гиммлеру. И такое происходит со мной не один, а несколько раз. Каждый раз я попадаю к новому лицу. Но результат всегда один и тот же — пожимание плечами. Не могу сказать, что господа невежливы. Они холодны как лед, очень точны, обладают жестокой логикой, лишены всякого чувства, они наверняка могут, не моргнув глазом, приказать меня увести и передать в руки палача. Но они ведут себя не так. Они поднимают глаза от бумаг и на меня, стоящую перед ними, смотрят удивленно и несколько рассеянno. Несомненно, они заняты более важными делами. Возможно, это строительство гигантского крематория для концлагерей, может быть, это решение актуальных проблем, как, например, тайное уничтожение старых и дряхлых людей, но они внимательно меня выслушивают и затем задают вопросы. Когда они начинают спрашивать, меня бросает в дрожь, ибо они задают вопросы прямо, с неприятной четкостью, от которой нельзя уклониться. Я и не желаю уклоняться, подавляю охватывающий меня страх, беру себя в руки и говорю то, что должно быть сказано. Говорю обдуманно, знаю, одна неудачная формулировка может все погубить, тебя и меня. Ибо моя задача — не отвечать, а возражать, отвергать доводы противника и обвинять. И не кого-либо вообще, а самих этих господ, их режим, их систему, их бесчеловечность. Так обстоит дело.

— Ваш муж, — спрашивают они, — коммунист?

— Мой муж — заключенный концлагеря.

— Но был коммунистом?

— До 1933 года был коммунистическим депутатом ландтага.

— И вы еще удивляетесь, что он в концлагере?

— Он в концлагере не потому, что был коммунистическим

депутатом ландтага, а потому, что имперский наместник в Вюртемберге Мурр считает его своим личным врагом. И он не только содержится в концлагере, с ним жестоко, бесчеловечно обращаются.

Тонкие ниточки губ становятся у господ еще тоньше.

— Есть ли у вас доказательства? — спрашивают они.

Конечно, у меня нет ни документов, ни справок. Я располагаю только несколькими показаниями освободившихся товарищей и подробным сообщением свидетеля-очевидца Роберта Диттера, которые я излагаю господам. Именно Роберт Диттер — один из немногих, подтвердивших впоследствии заявление, сделанное мной в гестапо. Я перечисляю случаи жестокого обращения с тобой, начиная с того, что было в Маутхаузене, говорю, что Мурр, не скрывая питаемой к тебе ненависти, заявил: пока он жив, ты на свободу не выйдешь. Я предъявляю господам ужасный счет, но они не собираются его погашать, хотя вынуждены признать его правильность. Конечно, они знают, что в концлагерях заключенных подвергают средневековым пыткам, что семьи их сосланы, а жилища разграблены и что подвалы гестапо наводят ужас на страну. Но они удивленно поднимают брови и со слабой, подразумевающей сомнение улыбкой спрашивают:

— Вы-то сами были при этом?

— Нет, — говорю, — я при этом не была, но Роберт Диттер при этом присутствовал.

— Кто такой Роберт Диттер?

— Товарищ моего мужа.

— Тоже коммунист? — спрашивают они, и вопросы их звучат все более резко и нетерпеливо.

— Да.

— Вот видите! — говорят они, словно одно это уже свидетельствует о неправильности его сообщения.

— Вы можете его допросить! — быстро говорю я, полная страха, что на этом «вот видите!» все кончится.

— Зачем? — господа удивлены, — мы хорошо знаем о положении в лагерях, а также о том, как там ведут себя коммунисты. Совершенно ясно: неповиновение требует твердых и решительных мер. Иначе к чему мы придем?

Я могла бы им возразить, что там не выказывают неповиновения. Там рабским трудом доводят до полного истощения. Колючая проволока под током высокого напряжения, приговоры к смертной казни через повешение, позорные столбы, к которым привязывают жертвы, и тому подобное, там не применяют решительных мер, там истязают и убивают. Но я молчу. Один чиновник торопливо убеждает меня в том, что

рекомендуемое фюрером и осуществляемое по его приказу истребление левых элементов есть само собой разумеющееся веление национального самосохранения. Другой спустя восемь дней заявляет, что, согласно поступающим из лагерей достоверным сведениям, славные эсэсовцы постоянно страдают там от террора арестованных социалистов, а третий чиновник коварными расспросами поворачивает разговор в такое запутанное, подозрительное и опасное русло, что я умолкаю. Ничего не поделаешь. Сохраняя любезное выражение лица, я должна молча выслушивать их иезуитские рассуждения, идиотские доводы, их бесстыдную ложь и должна еще быть благодарна за то, что они сообразовали со мной разговаривать, ибо в этой стране в их руках вся власть и все право.

Беседы эти непродолжительны, господа под конец явно выражают недовольство, и лишь мой последний вопрос, не представится ли возможным лично поговорить с рейхсфюрером, вызывает каждый раз на какое-то мгновение веселое настроение и обеспечивает мне благополучное отбытие.

— Не думаете ли вы, — спрашивают господа с улыбочкой, — что у рейхсфюрера нет других забот?

— Разумеется, — говорю я и думаю при этом о сотнях тысяч заключенных в концентрационных лагерях, которых он должен уничтожить. И о тебе.

Потом, усталая и полная отчаяния, я иду домой. Мимо убогих домишек северной части города, тусклых, грязных улиц и бесконечных мрачных задворков, мимо шумных пивнушек, проституток на каждом углу, устрашающего силуэта здания полицейпрезидиума с множеством темных окон, где я каждую неделю должна отмечаться в гестапо. И чудится, будто все это, вдруг фамиллярно ослабившись, меня приветствует. Неужели я действительно им принадлежу, стала их неотъемлемой частью? Когда я поднимаюсь по проклятой лестнице в доме на Коммандантенштрассе, чувствую, что меня знобит. У Эмиля дома никого нет. У меня холодно. Внезапно меня охватывает непреодолимое желание быть там, где много света и тепла. Я возвращаюсь назад и в своем легком пальтишке бреду вверх по Лейпцигерштрассе, без определенной цели.

Сыро и холодно, промозглая погода, В мокром асфальте отражаются огни световой рекламы, свет бесчисленных электрических фонарей, сияние огромных витрин. Непрерывным потоком скользят по улице автомашины. Мимо меня, не замечая, проходят люди, элегантно одетые, жаждущие развлечений, спешат в кино, театры, рестораны. Из вращающейся двери большого отеля на меня хлынула волна чудесного, теплого

воздуха. Не могу устоять против соблазна и медленно вхожу в холл. В иной мир. В чуждую мне атмосферу фешенебельного уюта и важной деловитости.

Никто не обращает внимания на меня. Робко забиваюсь в угол и опускаюсь в стоящее за фикусами и пальмами глубокое кресло. Здесь удивительно тепло, пахнет хорошим табаком и тонкими духами. С потолка свисают гигантские сверкающие люстры. Хорошо одетые господа входят, выходят, отдыхают на широких кожаных диванах и в удобных креслах за низенькими столиками с большими пепельницами, ждут, болтают или просто сидят, убивая время. За столом администратора опытные портье, умело встречающие гостей, степенные, сдержанные, с безупречным пробором и в праздничных сюртуках, усердно роются в толстых книгах, с заученной вежливостью дают справки, с церемонной важностью выдают ключи от номеров и почту и едва заметным кивком подают знак услужливому, ловкому посыльному в форменной курточке. Бывает ли такое на свете? Оказывается, бывает.

Неподалеку от меня сидит красивая женщина и, явно скучая, просматривает журнал. Несомненно, один день ухода за своей красотой обходится ей в сумму, большую той, что я зарабатываю за две недели. На ее груди сверкает жемчуг. На моей груди не сверкает жемчуг, зато в мой бюстгальтер вшита половинка бритвенного лезвия. Прекрасной элегантной даме это не нужно, она не распространяла запрещенные листовки и не сидела в концлагере, по всей вероятности она занималась только любовью. Возможно, вон тот, приятной наружности подтянутый мужчина с серебристо-белыми волосами и коротко подстриженными седыми усиками, в эту минуту нежно целующий ей руку, — ее супруг и она его поджидала. Я тоже ожидаю своего мужа, только я жду тщетно, ибо после разъяснения, полученного сегодня на Принц-Альбрехтштрассе, он, пожалуй, появится не так скоро. Если вообще возвратится, ведь ему есть чем заняться в каменном карьере Маутхаузена. В этом разница.

В чем же эта разница?

Разве люди, стоящие здесь вокруг или удобно расположившиеся в креслах, лучше нас? Нет. Они не думали о других, заботились только о себе. Они не предостерегали от опасностей гитлеровского режима, приход Гитлера к власти был им выгоден. Они не организовывали митингов протеста, общих собраний, не произносили речей против гитлеровского фашизма. Они не испытывают страха. Стоит им поднять голову, и стрелой к ним подлетит бой, подбежит угодливый кельнер. Если подниму голову я, ко мне в лучшем случае подойдет чиновник уголовной

ПОЛИЦИИ и потребует предъявить паспорт. Ибо мое лицо не для этой обстановки, оно худое и удрученное, здесь оно только помеха, оно обвиняет.

Нет, к этой обстановке я не подхожу. В холл с шумом входит группа высших офицеров-штурмовиков, толстых, с красными от выпитого вина лицами, они громко разговаривают и ведут себя бесцеремонно, но они никому не мешают. Их несдержанный, громкий смех явно дисгармонирует с царящей здесь приглушенной атмосферой, но они — не мешают.

Только наш брат мешает.

Внезапно меня охватывает страшная ярость. Не потому, что эти люди имеют деньги, а мы — нет, к этому мы равнодушны. Но потому, что они лишают нас самой возможности жить. Разве они располагают большим, нежели мы, правом на жизнь только потому, что меньше нас задумываются о том, что такое право на жизнь и справедливость? Ну нет, это мы еще посмотрим! Черт меня побери, если не доведу до конца эту борьбу за твою и тем самым за мою жизнь. Долой отчаяние, в моей душе ему нет больше места! Я уже не прячусь робко за фикусы, а спокойно иду сквозь строй ухмыляющихся верных слуг фюрера и выхожу на улицу. Мне уже не холодно, и я ничего не боюсь. Я твердо решила выволочить тебя из концлагеря, чего бы это ни стоило. Через несколько дней я снова иду на Принц-Альбрехтштрассе.

Первое важное событие — привожу в Берлин Кетле. Теперь у меня есть для нее кровать и теплое помещение, и, если ты приедешь, все должно быть, как прежде. Кетле охотно посещает здешнюю школу. Быстро находит себе подружку и скоро ориентируется в городе лучше меня.

Второе событие — весточка от тебя. Сообщаешь, тебя неожиданно перевели в тюрьму гестапо в Берлине. Итак, дело сдвинулось с мертвой точки. Дрожу от мысли, как бы ты из-за твоей нелюбви к компромиссам, из-за одного-единственного неосторожного слова не погубил все дело»

Третье — это война.

Мы ее предсказывали. Мы видели ее приближение. Тем не менее она поражает, как удар молнии. Теперь все, думаю. Кто будет сейчас беспокоиться о каком-то узнике концлагеря? Начинается борьба за освобождение великой Германии. Немецкая молодежь марширует. Вот он, желанный час. Германия, зиг — хайль!

Не имеет никакого значения, несется из репродукторов истерический лай германского «бога» войны, — не имеет никакого значения останемся ли жить мы. Необходимо, чтобы жила великая Германия!

Кто вздумает теперь тревожиться о судьбе жалкого узника концлагеря?!

Свыше шести лет, продолжает лаять хриплый голос, я работал над созданием германского вермахта. За это время на строительстве вермахта израсходовано более 90 миллиардов марок.

Неужели никто этого не видел? Не видели немецкие рабочие? А те иностранные дипломаты, что почтительной толпой во время новогоднего приема пресмыкались в передней рейхсканцелярии, они тоже не видели? Не видели и немецкие женщины? Теперь они это видят. Но они не протестуют. Они позволяют своим мужьям и сыновьям уходить на войну. Они не очень ликуют, но и не слишком убиваются. Германские армии вторглись в Польшу. Старая шарманка непрерывно играет прусские победные марши и неустанно повторяет рассчитанную на сочувствие легенду о навязанной нам войне. А из репродукторов несется крик кровавого шарлатана: не имеет никакого значения, останемся ли жить мы, необходимо, чтобы жила великая Германия.

Не имеет никакого значения?.. Имеет ли тогда узник концлагеря вообще право на жизнь?

На флагштоках взвиваются первые победные штандарты. Первые восемнадцать дней военная кампания осуществляется строго по программе. Ослепленная нация празднует победы военного гения полководца, ведущего ее к гибели. Тот, кто выступает против единства немецкого народа, орет из репродукторов голос фанатика, может ожидать лишь одного: он будет уничтожен как враг нации.

Уничтожен?.. А я здесь жду тебя. Порой, находясь подле дымящихся, вонючих запаянных колбочек, я вдруг представляю, что в эту минуту ты стоишь перед дверью нашей квартиры или сидишь на ступеньках лестницы. И я, глупая, по окончании работы стремглав лечу домой. И всегда напрасно. Всегда напрасно.

Я в полном отчаянии. Может быть, попытаться пройти к Гиммлеру? Знаю, это безумие. У рейхсфюрера СС теперь действительно полно других забот. Части СС идут вслед за армией, ведущей боевые действия. Их мародерские команды, штрафные команды, команды по истреблению населения должны умиротворять страну испытанными в концлагерях методами. Нет, на Принц-Альбрехтштрассе я больше не пойду. Меня сочтут там за сумасшедшую. Чего вы хотите? Вашего мужа? Узника концлагеря? Врага государства, врага фюрера, врага войны? Разве вы не слышали:...будет уничтожен! Мы ведем войну, фрау Хааг, неужели вам это еще неизвестно? Не имеет никакого значения,

живы ли мы, необходимо, чтобы жила великая Германия!

Нет, еще раз на Принц-Альбрехтштрассе я не пойду. Как бы ни велико было мое отчаяние.

Однажды меня вызывает к себе начальник нашего производства. В первую минуту я пугаюсь. Ну, думаю, они снова пришли за тобой. Что ж, пожалуйста, откладываю колбочки и иду. Мне теперь все равно. Но начальник производства у себя один, «господ» в кабинете нет.

— Звонили с Принц-Альбрехтштрассе, — говорит он. — Вы можете оттуда увезти мужа.

Как это?.. — думаю я.

Шеф вскакивает, обегает вокруг-стола, успевает подхватить меня и усаживает в кресло:

— Что случилось?

— О ничего, спасибо, уже прошло.

— Я полагал, — говорит он озадаченно, — это вас обрадует.

— Разумеется, — лепечу я, — только... я больше на это не рассчитывала.

И тогда хлынули слезы.

Шеф ведет себя безупречно. Он любопытен, но не вдается в подробности. Коротко рассказываю ему обстоятельства дела.

— Черт возьми, никогда бы не поверил, что вы способны на такое. Вот здорово! Поздравляю!

Я уже на ногах. Слабости как не бывало. Я должна немедленно мчаться к тебе.

— Могу я получить на полгода отпуск? После семи лет концлагеря мужу требуется уход.

— Разумеется, — говорит он приветливо. — А сейчас — идите! Я отдам все необходимые распоряжения.

Сижу в одном из коридоров гестапо, жду тебя. Серый день, серый коридор, торопливо пробегающие мимо люди, безусловно, не более достойны внимания, чем обычно, но почему-то я чувствую желание поделиться с ними моим огромным счастьем, и вот коридор уже полон блеска, и день полон блеска, и жизнь, поруганная и проклятая жизнь, сразу становится невыразимо прекрасной. И бедное, маленькое, истерзанное сердце едва может справиться с этой бурной радостью.

И тогда появляешься ты, тебя ведет эсэсовец по коридору вверх, вновь вижу тебя после семи долгих тяжких лет. Сбегаю вниз навстречу, и ты подхватываешь меня. На нас таращат глаза, эсэсовец кричит «нельзя, назад, еще не готовы документы!» и грубо отталкивает меня в сторону. Ты смеешься, не так, как раньше, но в твоем взгляде светится любовь, не погасшая за семь долгих лет, и, успокаивая меня, ты говоришь: «Погоди, сейчас все

будет готово». Эсэсовец отводит тебя в одну из многих комнат, я следую за вами и останавливаюсь перед дверью, куда ты вошел. Потом ты выходишь, в руках справка об освобождении. Какое-то мгновение ты стоишь в коридоре, разворачиваешь бумагу и недоверчиво вчитываешься в строки. Я не могу прочесть, что там написано, текст расплывается перед глазами, вижу только печать. Значит, верно, значит, все в порядке. Ты со мной и свободен. Внезапно меня охватывает панический страх, что на самом деле так быть не может и что, если мы тут задержимся, они отведут тебя назад в комнату. «Пойдем!», говорю я, и мы уходим. По улице идем молча, держась за руки, как запуганные дети, еще полные недоверия к окружающему миру.

Февральский вечер неприветлив, мрачен, очень холодно. На твоей коротко остриженной голове нет ни шапки, ни шляпы, нет на тебе и пальто. Всего лишь заштопанный костюм из тонкой материи, который тебе мал. Под мышкой коробка, она мне знакома, она слишком велика для находящихся в ней старой мочалки, кусочка мыла, расчески и изношенной рубашки. Мы не разговариваем. Украдкой я посматриваю на тебя. Лицо твое словно высечено из серого камня. Идешь, слегка наклонив голову вперед, взор напряженно устремлен прямо перед собой, как у человека, который видит только дорогу и ничего больше.

Когда приходим домой, ты вначале, как гость, стоишь в маленькой комнатке и осматриваешься. Потом лицо твое светлеет от счастья, как если бы ты проснулся после дурного сна. Делаешь несколько шагов, берешь в руки вещи, ставшие тебе чужими за семь лет.

— Так, — тихо говоришь, — именно так я иногда представлял себе это в лагере.

Внезапно оборачиваешься ко мне, и я вижу прежние, любящие, сияющие глаза.

— Если бы мне показали тысячу других комнат, я бы сразу догадался, что именно эта твоя, — говоришь ты.

Хочу выйти на кухню приготовить еду, но ты берешь мои руки в свои, и я не могу уйти от тебя, не могу сделать даже шага, и никуда я не иду. Иду только за Кетле к Эмилям. Ах, мой дорогой, мой любимый, зачем я об этом пишу. Ты сам все знаешь...

Если есть на земле счастье, то это счастье твоего возвращения, нашего свидания, тех часов и той ночи, тех дней и месяцев, счастье одного года взамен страданий семи прошедших лет, а также горя и страданий бог весть какого количества будущих лет. Словно предчувствуя, что это ненадолго, мы стремимся каждое мгновение быть вместе. Но мы не забываем,

что идет война, крадем часы у сна и бережем минуты, дабы не упустить что-либо из удивительного, поразительного настоящего. Нам никто ничего не дарил, но нашу жизнь сейчас мы воспринимаем как великий дар. Она далась нам очень нелегко. За шесть месяцев моего отпуска я успешно заканчиваю двухгодичный курс обучения в Шарите^[9] и у профессора Адамса сдам государственный экзамен на звание инструктора лечебной гимнастики. Ты работаешь в небольшой мастерской. Кетле прилежно занимается в школе. Это не счастье, каким его рисуют в кинофильмах со счастливым концом и веселой музыкой, это зрелое тихое счастье свершения.

Для жизни нужны деньги, иногда нам трудно наскрести необходимые гроши, но ни с ода ним человеком на земле мы не хотели бы поменяться судьбами. Со временем нам даже удастся перебраться в двухкомнатную квартиру, где Кетле имеет свою комнатку.

Так проходят весна, лето, зима и снова весна, а мы едва это замечаем. Каждый день одинаково прекрасен, идет ли снег, или в садах цветут цветы. Каждый час, что мы не имеее, — невозместимая утрата. Вечера полностью принадлежат нам. Мы сидим вокруг лампы за нашим столом, шум улицы проникает в нашу мирную тишину. Мы живем в одной из крупнейших столиц мира, население которой составляет четыре миллиона человек. Но пас это не трогает, мы словно на уединенном счастливом острове. В мире война, германские полчища вторгаются в чужие страны, по радио мы слышим звуки победных фанфар, на башнях победно звенят колокола, развеваются знамена.

Когда германские войска вторглись в Советский Союз, мы насторожились.

— Теперь начинается расплата, — говоришь ты, — Красная Армия положит этому безумию конец.

Ты думаешь о Красной Армии, я думаю о нас.

— Теперь арестуют всех членов КПП, — говорю я подавленно.

Страх овладевает моим сердцем. Мы снова ждем. По ночам вновь настороженно прислушиваемся к шагам на лестнице. Вздрагиваем, когда в передней раздается звонок. Как прежде. Мы снова полны тревоги, стараемся скрыть ее друг от друга, но нам это не удастся. Уход утром на работу каждый раз как прощание.

Но ничего не происходит. Ты, как обычно, ежедневно отмечаешься в полиции. Время от времени в дом наведывается шпик из гестапо, справляется у жильцов, не высказываем ли мы недовольства, не отсылаем ли с пустыми руками тех, кто приходит собирать пожертвования для армии? Все, как обычно. Все, как прежде, и все-таки по-иному. И вновь мы ждем...

Мы ждем не напрасно. Заказным пакетом приходит повестка из вермахта. Приказ о твоём призыве в армию.

— Какая-то шутка, — говоришь ты, растерянно вертя в руках проклятую бумажку, — ведь я не подлежу призыву, недостоин службы в вермахте!

Но это не шутка. Это какое-то сумасбродство. Как страстно боролся ты против милитаризма! Чтобы воспрепятствовать войне, ты готов был пожертвовать жизнью. Теперь же ты сам должен стать солдатом. Пехотинцем. Воином. Гарантом победы. Поистине смешно, но мы не смеемся. Я недостоин службы в вермахте, повторяешь ты все время. Нет, теперь ты уже не прежний. Ты уравнен теперь с другими, с теми, кто по прихоти одержимого манией величия безумного ефрейтора, развязавшего мировую войну, марширует, сражается, умирает и погибает. Достоин службы в вермахте.

Тебя призывают. Слава богу, не в действующую армию, ты попадаешь в роту технического обслуживания. Я снова одна. Иногда тебе дают выходной. И тогда, открывая дверь, я вижу тебя в мундире, чужого солдата. Видя тебя таким, я каждый раз по-новому озадачена. Чувствую, что в этой ненавистной форме ты сам себе чужой, даже если об этом не говоришь. Резкое движение, каким ты бросаешь в угол отстегнутый ремень, уже достаточно говорит мне. Когда спрашиваю, как тебе живется, уклоняешься от ответа.

— Очень хорошо, — говоришь ты, — ко всему привыкаешь.

Но лгать ты не умеешь. Знаю, ты не из тех, кто сдаётся, ты это доказал, знаю, ты ко всему можешь привыкнуть, но к службе в вермахте не привыкнешь никогда. Вижу, в каком ты отчаянии, и ничем не могу помочь. Никто и ничто не может нам помочь.

Германские войска оттеснили части Красной Армии, продвинулись к Ленинграду, Москве, Черному морю. За войсками следуют соединения СС, рейхскомиссары и губернаторы, особые комиссии и особоуполномоченные до «умиротворению» завоеванных стран.

Фашистская пропаганда захлебывается от восторга. Самые дикие измышления о Советском Союзе, невиданная по своим масштабам антисоветская клеветническая кампания должны обмануть народ и весь мир, от всех скрыть варварские методы этого «умиротворения». Но нас не обмануть. Мы знаем, как они выглядят на самом деле. Оккупированная область аннексируется, её население невообразимо зверским способом истребляется. Наконец-то, орет в микрофон «чествуемый народом победитель», я могу говорить открыто. Уверенный в победе, он сбрасывает маску. Теперь народ видит его подлинное лицо. Мы его уже знаем, ты и

я. Однако немецкому обывателю оно по душе. Ему нравится свирепая откровенность любимого фюрера. Ему нравятся «победы» и тысячи рабов, пригнанных из России и с Украины, ему нравятся русская пшеница и русская нефть, русские заводы и новое жизненное пространство. Обыватели аплодируют удавшемуся грабежу. Немецкие женщины кичатся своими «героическими» сынами. Что с того, что изощренная жестокость немцев на востоке, о которой рассказывают приезжающие в отпуск солдаты, оставляет чувство целовкости, вызывает некоторое неудовольствие. Его легко заглушают победные фанфары, экстренные сообщения верховного командования, крикливые лозунги. «Героическому» народу чужда сентиментальность. Наши колонии — на востоке. Немецкому трудолюбию принадлежит «право» осваивать богатые области. Кто спросит теперь: справедливо ли это? Никто. Только спросят: а какие там богатства? Пшеница, пишут газеты, металл, электростанции, скот. Кому придет тогда в голову мысль о массовых убийствах? Разрушенных городах? Сожженных дотла деревнях? Куда приятнее делать отметки на географических картах. Каждый день новые. От мыса Нордкап до Черного моря. Вперед на восток, атакующий воин! По дорогам «победы» вдогонку летят все новые резервы. Наступление продолжается. Ему сопутствуют победные штандарты. На столе обывателя звенят бокалы. Фюрер приказывает, следуем за ним.

— Только бы не на восточный фронт, — говоришь ты.

Знаю, как ты любишь Россию и ее народ. Только не на восточный фронт. В эти недели и месяцы это наша единственная тревога и надежда.

И тогда тебя отправляют. На восточный фронт. У нас почти нет времени проститься. Внешне ты совершенно спокоен, но я чувствую, как сильно ты волнуешься. Мы никогда не выставляли напоказ свои чувства, но на этот раз мне хочется проводить тебя на вокзал. Ты запрещаешь. Мы прощаемся у выхода. Ты еще раз обнимаешь меня, твоё пальто мокро от моих слез, у поворота лестницы ты мне киваешь напоследок, поднимаешь вверх Кетле...

Я снова одна. Одна. Это легко только сказать. На столе еще стоит чашка, из которой ты пьешь кофе. Когда ты снова будешь сидеть в этом кресле? Вон там на вешалке твоя старая куртка. Возвратишься ли когда-либо? Внутри меня безнадежная пустота. Несмотря на то, что со мной Кетле. Потому, что со мной Кетле. Какими чудесными были эти полтора года с тобой и Кетле! Какими содержательными, богатыми впечатлениями. И вот теперь снова, как прежде. Опять я жду. Как прежде. На сей раз это слишком больно. Нервы больше не выдерживают. Я устала от

длительного ожидания. Я жду всю жизнь. Я ждала лучшие годы моей жизни. И вот сейчас ты опять ушел. Не в концлагерь. На войну, которая будет вестись беспощадно до горького конца. Нам это ясно давно.

— Мама, — спрашивает Кетле, — разве должны быть на свете войны?

Что бы я делала без Кетле! В дочери, которой теперь десять лет, все мое счастье, мое утешение, моя радость. Когда мы вместе проводим вечера или беседуем, лежа в постели, ты с нами. Мы — одно сердце, и твою тоску по дому мы переживаем с такой же силой. Спрашиваем друг у друга: где-то наш папочка сейчас? Тоже собирается спать? Или стоим у окна и смотрим на звезды. Это те же звезды, которые видишь и ты. И тогда Кетле спрашивает, почему должны быть войны на свете.

— Войн, Кетле, вообще не должно быть.

— Почему же их все-таки ведут?

— Гитлер хочет завоевать мир. Потому сейчас война.

— Если бы все были такими, как наш папочка, — говорит она, — войн не было бы.

— Да, тогда не было бы войн и нужды. И никакой полиции.

— Я никогда не выйду замуж, — говорит Кетле.

— Почему же?

— В замужестве тебя ожидают одни несчастья.

— Что ты, я, например, очень счастлива.

— Ты? — В ее голосе слышу недоверие. — Ты же всегда была одна! Теперь ты снова одна и несчастна, так как папа не с нами.

— Да, это верно.

— И плачешь.

— Да, разве можно не плакать, когда мы так любим друг друга?

— Вот видишь. — Кетле отбрасывает локоны со лба. — Нет, нет, все что угодно, только не любовь.

— В этом, Кетле, человек не властен. Любовь к нему приходит неожиданно. Без нее, думается мне, жизнь неполноценна. Если это настоящая любовь.

— А как узнать, что это настоящая любовь?

— Это чувствуют. Она преображает человека. Делает его лучше.

— А вы сразу, как только познакомились, почувствовали, что это настоящая любовь?

— Мы так полагали. Потом проверили наши сердца. Порой можно ошибиться.

— И потом поженились?

— И потом обручились.

— Ах так, обручились, напечатали специальные карточки, была помолвка?

— О нет, — отвечаю я, смеясь, — для этого не было времени. С субботы на воскресенье мы хотели уехать, папочка и я. Совершить вылазку в горы. О помолвке мы и не думали. Когда он зашел за мной, — я уже ждала с упакованным рюкзаком, — дедушка не хотел меня отпускать. Вы еще не обручены, заявил он, и тебе, Лина, надлежит больше заботиться о своей чести, а также думать о родственниках. Мы озадаченно смотрели друг на друга, я и папочка, были сильно разочарованы, и я уже считала прекрасный воскресный отдых потерянным. И тогда папочка внезапно бросился к выходу и исчез. Примерно через четверть часа он вернулся, выложил перед дедушкой на столе два золотых обручальных кольца, которые он только что купил, и сказал:

— В качестве жениха и невесты мы горячо приветствуем всех родственников и заранее сердечно благодарим за поздравления!

Потом одной рукой он схватил рюкзак, а другой просто вытащил меня из комнаты. Растерявшийся дедушка молча рассматривал кольца. Это было чудесное воскресенье.

— Замечательно! — Кетле смеется, она в полном восторге. — До чего здорово!

— Да, папочка оказался молодцом. Он всегда такой.

Когда я думаю о твоей веселой беспечности, о полном отсутствии у тебя уважения к обывателям и мещанам, о твоих шутках и проказах, твоей честной, открытой и благородной политической борьбе, у меня становится тепло на сердце. Воспоминания утешают и вселяют уверенность.

— Они никогда не могли сломить его волю, — говорю я Кетле. — Он и сейчас что-нибудь придумает, чтобы выйти из затруднительного положения.

— Безусловно, мамочка, наш папочка сделает это, вот увидишь!

Так мы ободряем друг друга, наполняя одинокие вечера яркими картинками воспоминаний и надеждами, и мечтаем о том времени, когда ты вернешься домой. Если ты вернешься...

Получаю на несколько дней отпуск и еду с Кетле к родителям. В небольшом провинциальном городе отчетливее, нежели в Берлине, ощущаешь перелом в настроении людей. Он медленно назревал, но наконец наступил. Интенсивное движение в крупном центре и постоянно царящее в нем оживление затухивают, скрывают появляющиеся признаки неуверенности. Здесь же я неожиданно замечаю, что со мной здороваются бывшие противники. Правда, с известной и еще необходимой пока осторожностью, но здороваются. Когда мы возвращаемся домой,

наша соседка встречает нас па лестнице, как прежде, когда гестапо арестовывало нас одного за другим. Только тогда она смотрела язвительно и злорадно, теперь изображает радость, видя нас, чуть не бросается мне на шею. Ее мышинные глазки теперь бегают еще быстрее, тревожно и с выражением отчаяния блуждают по сторонам, поглядывая то на одного, то на другого, словно в поисках понимания и защиты. Это отвратительно.

Но еще отвратительнее некоторые бывшие товарищи по партии, которые в свое время незаметно исчезли, трусливо прятались по углам, пытаясь остаться незамеченными. Теперь они вынырнули на поверхность, «дружески» и «доверительно» здороваются, словно бы ничего и не произошло, говорят о долгожданном освобождении и мести, на которую они якобы имеют право. Даже кланяются тебе, передают приветы, о которых я, конечно, никогда ничего тебе не скажу. В ответ я храню молчание, и на моем лице они читают презрение. Удаляются, — вероятно, для того, чтобы вновь незаметно исчезнуть.

Совершенно неожиданно ты приезжаешь в отпуск. В очень угнетенном состоянии, почти в отчаянии. Ненавистная форма летит в угол. И лишь тогда вырывается из тебя тщательно скрываемое и глубоко затаенное отвращение, постоянно подавляемый, бесполезный, беспомощный гнев.

— Когда же, — говоришь ты, — этому безумию будет положен конец?

Еще никогда не видела, чтобы ты был так потрясен.

Тебе не удалось перебежать к Красной Армии, хотя ты довольно хорошо говоришь по-русски.

— Если бы я не скрыл, что знаю русский, они использовали бы меня как переводчика при допросе партизан, этого я не выдержал бы.

Твой рассказ подтверждает многое из того, о чем рассказывали мне в госпитале раненые.

— Наши солдаты, — говоришь ты, — покорно сидят по уши в грязи или вязнут в болотах, они знают, что эта война бессмысленна, и давно уже не верят в победу. Тем не менее повинуются. Каждый разумный человек видит, что надвигается катастрофа, но никто не положит этому конец. Непостижимо.

Рассказываешь о советских людях, с которыми тебе довелось беседовать. Мы теперь хорошо вас узнали, говорила тебе русская учительница, после того как прониклась к тебе доверием. До прихода ваших войск наше село было довольно зажиточным. У нас всегда можно было купить огурцы, ягоды, чудесный мед, сливки, козий сыр, дешевые изделия из шерсти и многое другое. Наше село с двумя тысячами жителей можно было назвать

богатым. А теперь? Пустота. Фашисты отобрали все. Масло, муку, яйца — все. Отняли последнюю лошадь, не осталось ни одной сельскохозяйственной машины, ни одного дома, каждого человека немцы заставляют работать на себя. Они «скупают» все подряд, забирая продукты, оставляют «расписки», в которых вместо подписи стоит закорючка или штамп, запугивают крестьян. Подчистую отбирают все, что было припасено на зиму. Забирают свиней, быков, кур, гусей, солому, овес, зерно и фрукты, часто в таком избытке, что большое количество продуктов пропадает. А наши жители, их дети умирают от голода и холода, мужчины уходят в лес партизаниТЬ. Такие деревни в большинстве случаев сжигают дотла. Ваши офицеры произносят громкие фразы, они-де пришли в Россию, чтобы вернуть нам нашу религию, которую у нас якобы отняли. Истребить нас, в корне уничтожить — вот религия фашистов.

Так ты рассказываешь часами, могу тебя понять, ты до краев переполнен этой болью, но отпуск исчисляется днями, из которых нам безраздельно принадлежат только вечерние часы. В твоих рассказах столько печали, они трогают до слез.

— Не грусти так, дорогой, ведь теперь мы вместе!

Но требуются дни, чтобы ты вновь по-настоящему был рядом со мной. Как быстро прошел тот отпуск. Близкая разлука бросает свою черную тень на часы счастья.

— Разве ты не счастлива? — спрашиваешь ты, когда я вдруг начинаю плакать.

— Конечно, счастлива, потому и плачу. Боюсь это счастье утратить.

— Не печалься, — утешаешь ты меня в свойственной тебе милой и доброй манере, — мы и с этим справимся.

Мы и с этим справимся, говоришь ты. Да, ты прав. И с этим тоже. Как справились уже со многим. Когда я думаю, что ты выдержал за семь лет пребывания в концлагере, я в это верю. Ты никогда ничего мне об этом не рассказывал, но от Роберта Диттера я знаю все.

Тебя дважды стегали плетью, рассказывает Роберт Диттер. За большой палец привязывали к «дереву». Устраивали «кривой замок»: связывали за спиной руки и ноги так, что ты превращался в страшный узел стянутых до крови конечностей. Стегали плетью, а затем привязывали руки к стене таким образом, что ты должен был, чуть касаясь ее, целый день стоять на цыпочках. С обнаженной спиной, покрытой нарывами от постоянной работы на погрузке угля, тебя прогоняли сквозь строй эсэсовцев, хлеставших тебя крапивой.

Когда я думаю, что все это ты перенес и теперь, живой, у

меня, кладешь голову мне на плечо и, улыбаясь, говоришь «мы и с этим справимся», я этому верю. Возможно, то, что происходит сейчас, продлится уже недолго. Ходят слухи, что немецкое наступление под Сталинградом захлебнулось.

Возможно, это перелом, начало конца.

Возможно, потому на этот раз так тяжело расставание. Ибо знаем, что конец будет ужасен, а выдержать это испытание каждому из нас придется в одиночку. «Только не поддаваться!» — говоришь ты. Если мы теперь расстанемся, думаю я, то все кончено. В последнем рукопожатии вся любовь наших шестнадцати лет и весь страх. «Сразу же напиши», — сквозь слезы говорю я. Не знаю, что еще сказать. Эта разлука, как нож в сердце. Когда ты ушел, я осталась полумертвой. Неделями пребывала в полном отчаянии, пока не пришло твое первое письмо с востока. Ты пишешь: мамочка, моя самая, самая любимая. Так ты еще никогда не писал.

Но жизнь не останавливается. Всю себя я отдала чужим страданиям, и для собственных не остается времени. И нужны все силы сердца и души, чтобы в это время выстоять, одному рассудку с этим не справиться. Хромоногий дьявол, заправляющий адской пропагандистской машиной, злоупотребляя памятью погибших под Сталинградом, подстрекает народ к тотальному самоубийству. Я спрашиваю вас, в яростном иступлении орет этот враль, хотите ли вы тотальной войны? Тысячеголосое «да» потрясает дворец спорта и всю нацию. Тотальный крах, кажет-ся, дело уже решенное. Достаточно пройти по нашему госпиталю, чтобы увидеть, на что мы можем рассчитывать. Причем все это только начало.



Альфред Хааг.

В квартире над нами умирает молодая женщина от туберкулеза легких. Поскольку она совсем одинока, я вечерами

поднимаюсь к ней и пытаюсь облегчить ее страдания. Ее медленное умирание глубоко меня потрясает, хотя к общению со смертью я постепенно уже привыкаю. Возможно, я так тяжело переживаю не самую ее смерть, сколько отчаянные усилия, с которыми она цепляется за угасающую жизнь. В ночь перед ее смертью я остаюсь у нее, она рассказывает о своей жизни, о людях, для которых она некогда что-то значила и которые сейчас, когда она в страшной беде, ее покинули.

— Жизнь — это огромное разочарование, — говорит она, — слишком много доверяешь, слишком много раздарилаешь, слишком многое прощаешь... Это бесчестно.

И все-таки она хочет жить. С ни с чем не сравнимым упорством она сражается с приближающейся смертью.

— Что произойдет со мной потом? Помогите же мне! — громко плача, причитает она в редкие минуты просветления.

Я не знала, как ответить ей, чтобы она меня поняла. Когда я видела ее страдания, как притягивает ее к себе страшная, угрожающая пустота, слова застревали в горле и я не могла сказать ничего, что могло бы действительно ее утешить. Я говорила нечто вроде того, что в природе все очень просто. Можно считать, что до своего рождения человек не существовал, и, очевидно, никто это не воспринимал как что-то ужасное и непостижимое... Точно так же не существует человек и после своей смерти. Растение дает первые ростки, развивается, затем увядает. Жизнь зарождается, движется по кругу и прекращается. Вырастают поколения, приходят и исчезают культуры. Что остается? История. Базой, источником любого вида энергии является материальный процесс. И мысль гаснет, если клетки головного мозга человека лишены необходимого питания. Когда угасает жизнь, круговорот завершен.

Примерно так объясняла я это фрау Шонауэр, и когда потом физические муки оттеснили на задний план все остальное и на нее опустился покров страшного одиночества, неизбежного спутника смерти, на лице ее лежала печать грустного отрешения, и все вопросы потеряли для нее какое-либо значение.

Эта смерть показывает мне с ужасающей ясностью, что такое в действительности жизнь, даже самая жалкая. Но теперь это понимание нами утрачено. Нацизм обесценил и жизнь, и смерть. Да, и смерть. В газовых камерах Освенцима она стала индустрией массового истребления. На фронте умирает немецкая молодежь. И жизнь этих юношей, казалось, совсем недавно полная надежд, ничего не стоит. И для тех, кто пишет: с прискорбием и одновременно с гордостью извещаем... — тоже. Они не видели, как те умирали. У них нет уважения ни к их жизни, ни к их

смерти. Никто в этом рейхе не питает уважения к смерти. Как же может кто-нибудь испытывать чувство уважения к жизни?

Даже бомбы не выводят этих людей из состояния безразличия. Даже огненный смерч не вызывает в этой тупой и усталой толпе чувства ненависти к поджигателям этой всепожирающей войны. Этого «недостаточно», чтобы народ возмутился. Всего этого хватает лишь на организацию бомбоубежищ.

22 ноября 1943 года начинаются массированные бомбардировки Берлина. Война возвращается в породивший ее город. Геббельс говорит об испытании сердец. Газеты пишут, что бомбовая война сделает нас еще тверже и фанатичнее в нашей решимости победить. Но начинают падать бомбы, и каждый старается спастись и счастлив, если потом живым выбирается из подвала. Ты знаешь наш подвал. Шестьдесят человек ищут в нем хоть какое-нибудь убежище. О подлинной защите от бомб не может быть и речи.

Раненые нашего госпиталя в Груневальде в безумной спешке роют щель. Мне она больше нравится, чем подвал. Боюсь, что меня завалит землей. Слишком много осталось в подвалах обугленных трупов. После первого налета бомбардировщиков пожары продолжаются много дней. С лица земли стерты целые кварталы. На Виттенбергплатц в метро взрывом сплюснен вагон с пассажирами. Чем все это кончится?

Вечером, когда прозвучал второй сигнал воздушной тревоги, Кетле еще не было дома, так как трамваи не ходили. Хочу выйти из убежища и направиться на розыски, но меня не выпускают. Полуживая от страха, забиваюсь в грязный угол. По окончании бомбежки стремглав бросаюсь на улицу. Повсюду пожары. С грохотом падают на мостовую раскаленные трамвайные провода. Рушатся стены домов. Из облаков дыма тучей сыплются искры. С громкими криками бегут по улице люди, потом возвращаются, так как дорогу им преграждают горящие развалины домов. Ничего не соображая, стою у входной двери, наполовину сорванной с петель. Где искать Кетле в этом аду? Полностью растерянная, спотыкаясь, делаю несколько шагов и сквозь дым и грохот изо всех сил кричу, зову ее по имени. Наконец она появляется вместе с каким-то незнакомым человеком. Кетле с трудом переводит дыхание, в глазах ее застыл ужас, одежда опалена, лицо вымазано сажей. Тяжело дыша, она рассказывает: во время воздушной тревоги она оказалась в метро на станции Ноллепдорфплатц. Когда неподалеку взорвалась бомба, вниз по лестнице, ведущей в метро, скатился клубок человеческих тел, люди дико кричали, многие были ранены, истекали кровью.

Возникла страшная паника. С огромным трудом удалось Кетле пробраться к выходу, и потом с незнакомым человеком она по горящим улицам побежала домой. Дома она истерически рыдала.

На следующий день я отвезла ее к родителям в Вюртемберг.

Прошу о переводе меня в один из южно-германских госпиталей, чтобы быть поближе к Кетле и родителям. Думается, сейчас надо сделать все, чтобы в начавшемся хаосе не потеряться. Но ходатайство отклоняется. «Вот если бы вас разбомбили...» — говорит главный врач.

Что ж, долго ждать не пришлось. Происходит это ночью. Когда бомба упала на соседний дом, нас в подвале воздушной волной бросило на землю. Разыгрываются неопишуемые сцены. Многие женщины бьются в истерике, другие молятся. Конечно, полный мрак. От пыли невозможно продохнуть. Хотя все кругом движется и суетится, чувствуешь себя страшно одинокой. Много раз падаю, пока удастся встать на ноги. Все рвутся к выходу. Кто-то кричит, что нас завалило. В подвал проникает дым. Очевидно, дом горит. Начинается что-то невообразимое. Как безумные, пытаются люди выбраться из этого ада. Несколько мужчин с трудом кое-как успокаивают публику. Тем временем в стене удается сделать пролом, и через дыру один за другим мы перебираемся в подвал соседнего дома. Потом, стоя на улице, вижу, что наш дом весь сверху донизу объят огнем. Из окон нашей квартиры вырываются языки пламени. Дома нет. Квартиры нет. То немногое, что в ней находилось, погибло. Четвертое по счету жилище, созданное нами с таким трудом, пошло прахом. Осталась только моя сумочка. И моя жизнь. Я еще живу. Все остальное ерунда. Сожаления об утерянном приходят потом. В эту минуту над всем преобладает сознание, что ты осталась жить, оно опьяняет. Хочется одновременно и плакать и смеяться.

В соседнем доме, знаешь, где была москательная, завалило всех. В течение двух дней они подают знаки, стучат, потом перестают. Погибают все. Всех их я знала. В гладильной, что напротив нашего дома, милую темноволосую маленькую женщину с двумя детьми взрывом огромной силы швырнуло на балкон под самой крышей, там они и повисли. Нет сил описывать весь этот ужас, хотя это необходимо, чтобы он никогда не был забыт.

А в результате? Одной сброшенной бомбы и нескольких канистр фосфора оказалось достаточно, чтобы бюрократические инструкции перестали служить препятствием к удовлетворению моей просьбы, и меня переводят на другое место работы. Еду в Гармиш, в большой госпиталь, размещенный в отеле «Риссерзее», инструктором по лечебной гимнастике. То есть сюда.

Этот госпиталь — настоящая фабрика, где людей быстро делают годными к строевой службе. Солдаты поражаются, как быстро их чинят, лечат и выдворяют. Правда, много здесь и таких, у кого только одна рука или одна нога, или совсем нет ног, и им должны делать протезы. Это счастливчики.

И все же здесь мне не нужно бежать в убежище или в щель, не буду видеть больше, как стоящие на крыше у зенитных орудий пятнадцатилетние мальчишки горящими факелами стремительно летят вниз, не буду больше видеть мертвых, раненых и изувеченных, которых каждый раз после налета ночью или на рассвете доставляли к нам в госпиталь и клали в коридорах, разорванных в клочки, сожженных, кричащих от боли мужчин и детей с искаженными лицами и страшными ранами.

Нет, всего этого здесь нет. Здесь горы и тихие леса, безмолвные ночи, здесь покой. Только сердце еще более беспокоино, еще более полно страха и надежды. И ожидает конца.

Нет, теперь я вовсе не встаю против судьбы, мой дорогой, мой любимый. Это бессмысленно, и потом она все-таки подарила нам полтора года совместной жизни с тобой и Кетле в Берлине... Это лучше, чем ничего. Не правда ли? Но другим женщинам она дарит годы... Многие, многие годы. Просто надо не думать о том, какими жалкими делают тебя наносимые судьбой удары. Почему, однако, судьба по меньшей мере не настолько милосердна, чтобы освободить от жгучей, невыносимой, длящейся годами тоски? Почему мы так беспомощны против горя и печали, тоски по родному дому, против боли, которая не только в голове, но повсюду, и главным образом в сердце...

Я прибыла сюда в мае. Вскоре наступило лето, за ним пришла осень, а теперь в горах уже идет снег. Никаких событий. Но опасности не уменьшились, а возросли, увеличился и страх, ибо конец не заставит себя долго ждать. Красная Армия уже на австрийской границе, американцы и англичане на Рейне. «Величайший полководец всех времен» безмолвствует, фанфары экстренных сообщений умолкли, лишь изредка слышны фанатические, исполненные ненависти вопли бесноватого лжеца — министра пропаганды. Легенда о новом оружии, за которую отчаянно цепляются те, кто стремится казаться самым непоколебимым и стойким, является в этой войне их последней надеждой. Она также будет стоить еще много крови, но под конец обращена против нас самих. Наши города, военные заводы, железные дороги разрушены, не работает транспорт, развалена экономика, от ужаса готово остановиться дыхание, не останавливается лишь война.

Война продолжается. Начиная с 20 июля умирают генералы,

тот, кто не повешен, умирает добровольно, в необычайной спешке^[10]. У зенитных орудий стоят пятнадцатилетние юноши и военнопленные, а на футбольных полях каждое воскресенье выстраивается последний резерв этой войны, фольксштурмисты — больные, дети и старики. Военные и так называемые народные суды действуют как машина, но количество дезертиров и пораженцев не уменьшается. В огне пылающих городов женщины отчаянно борются за сохранение домашнего скарба. Колонны жалких людей, потерявших во время бомбежек жилище и имущество, движутся от села к селу, нигде не получая помощи. Из нашего госпиталя мы отправляем по домам инвалидов, снабжая их ничего не стоящими официальными бумажками, содержащими признание их военных заслуг. Здесь эти инвалиды никому не нужны, а госпиталю необходимы места для новых жертв войны. В органах власти, высших и низших инстанциях, царит полный хаос, медленно наступает развязка, приближается конец.

Каждый это видит, но едва ли можно рассчитывать на восстание или быстрый конец. Люди полны страха и до мозга костей пропитаны так называемым чувством долга, рабским повиновением и немецкой основательностью. Крах, по-видимому, будет полным. И хотя многие прозревают, но многие еще верят в победу, многие матери все еще кичатся «заслугами» своих сыновей, их мундирами, знаками отличия, крестами, и в своей непостижимой гордыне они порой опаснее профессиональных блюстителей военной морали, все еще шныряющих вокруг под разными масками. Кто и теперь не видит, что нас толкают в пропасть, тот видеть этого не хочет и того уже ни в чем не убедить. Не успеешь оглянуться, как за «разложение военной мощи рейха» окажешься с петлей на шее. Но я не хочу петли на шею, я хочу быть живым свидетелем этого конца. Знаю, это будет совсем нелегко. Я никогда не сомневалась в преступном стремлении Гитлера и его сообщников к массовому истреблению. Миллионов убитых им все еще мало. Чтобы отсрочить свою казнь на недели и дни, они вновь приносят в жертву тысячи и тысячи людей, в том числе женщин и детей. Преступники намерены увлечь за собой в пропасть весь народ. После себя они хотят оставить лишь выжженную землю, монбланы трупов. Уходя, они хотят так хлопнуть дверью, чтобы содрогнулся мир.

Я знаю это. И потому боюсь. Потому опасаясь конца, которого так страстно жажду. Покой здесь обманчив. Уединенные горные вершины, над которыми проносятся облака, тихие леса и безмолвные долины создают призрачный мир. Как театральная декорация в разыгрываемой на сцене драме. Вчера руководящий

нацистский офицер отправил в гестапо ополченца за то, что тот имел неосторожность сказать своим товарищам: война проиграна. Его, наверное, расстреляют. Не здесь. Здесь выстрелы не раздаются. Здесь ни один звук не нарушает тишины. Сразу же за домом начинаются тихие леса, утром перед садовой изгородью стоят косули. Порой не могу себе представить, что одновременно могут существовать мир здесь и — война. Из окна видны темные ели и над ними светлые снежные вершины гор. Но сердце полно тревоги. В любую минуту меня могут арестовать. Я жду этого. Начиная с мая я жду, что меня заберет гестапо. С того дня, как мать мне написала, что они осведомлялись о моем адресе. Насколько я знаю Мурра, он велит арестовать меня, когда ситуация станет серьезной. Но на этот раз они меня не заполучат. Живой — ни за что. Людвиг, надежный товарищ из Мюнхена, — ты должен знать его, он одно время был с тобой в Дахау — уведомит меня о предстоящем визите гестапо. Он раненый, но работает писарем. В крайнем случае выскочу в окно и скроюсь в горах. Он будет приносить мне пищу. Мы обо всем условились. Кроме того, ведь у меня есть половинка бритвенного лезвия.

Но не только в этом дело. Твое последнее письмо я получила весной. С тех пор — ни слова. С тех пор я жду, каждый день живу надеждой, только надеждой. Представляешь ли ты мои муки? Каждый день одно и то же: «Письмо? Нет, вам ничего нет, фрау Хааг». Нет, вам ничего нет, фрау Хааг. Ни письма, ни перспективы, ни надежды. Только страх, тревога, изнуряющая неизвестность, тоска, страдания, только судьба, всегда только судьба. То, что и другие теперь плачут, не является утешением. Я плачу уже одиннадцать лет. Я жду уже одиннадцать лет. Уже одиннадцать лет моя жизнь состоит из неизвестности, боязливой тревоги и тоски. Сердце мое переполнено слезами. Скорбь, накопившаяся в нем за одиннадцать лет, грозит его разорвать. Одиннадцать лет непрерывных страданий истощили мои силы.

Я знаю свое состояние. Долго так продолжаться не может. Отчаянно борюсь я со своей слабостью, не могу ее превозмочь, обмороки случаются все чаще. Хочу быть мужественной, но что могу я поделать с сердцем, которое не выносит уже даже укола разбавленного водой кофеина. И все же я надеюсь выстоять. Я хочу жить. Хочу увидеть тебя. Хочу, чтобы мы вновь были вместе, как когда-то, ты, я и Кетле. Ради этого я выстояла. Все одиннадцать лет.

Одиннадцать лет — долгий срок. Одиннадцать лет — это много, если это лучшие годы жизни. Они должны были принадлежать тебе и Кетле. Долго я думала, что они растрочены впустую и судьба наша оказалась просто бессмысленной. Как

часто ополчалась я на эту судьбу, а нас называла глупыми и безрассудными. Возможно, мы были ими, с позиции уверенных в себе обывателей и ловких дельцов, твердо стоящих, как они говорят, на почве реальности. Война страшным образом продемонстрировала нашу правоту. Ее конец откроет и им глаза, отрезвит их.

Следовательно, наша судьба на протяжении этих одиннадцати лет имеет смысл, и, наверное, это хорошо.

Только мне так хочется вновь увидеть тебя.

Сегодня день твоего рождения, мой любимый, мой возлюбленный муж. Весь день думаю о тебе и солнечных днях нашей совместной жизни. Их было немного, но их счастье безгранично, и они согревают мое сердце, которое обливается слезами с того дня, как я перестала слышать твой голос.

Я буду ждать тебя, ждать и ждать. До конца моей жизни, до последнего вздоха.

Это я хотела сказать тебе, горячо любимый.

notes

Примечания

«Gotteszell» можно перевести как «камера господа бога».
(Здесь и далее примечания переводчика.)

Позднее проходила по процессу Шлотербека и других товарищей в Штутгарте, казнена в ноябре 1944 года. — Прим. автора.

Геслер — правитель кантона Ури в Швейцарии, убитый, как гласит предание, Вильгельмом Теллем.

В переводе с немецкого фамилия чиновника означает — глупец.

«Eichtenburg» можно перевести как «светлая крепость».

В средневековых легендах Грааль — чаша с кровью Христа.

Курфюрстендам — фешенебельная улица в старом Берлине.

Мандель — позднее надзирательница концлагеря Освенцим, где стяжала страшную славу. После 1945 года бежала, была опознана, приговорена польским судом к смерти и повешена. — Прим. автора.

Шарите — университетская клиника в Берлине.

Неудача покушения на Гитлера 20 июля 1944 года вызвала новый разгул фашистского террора.